

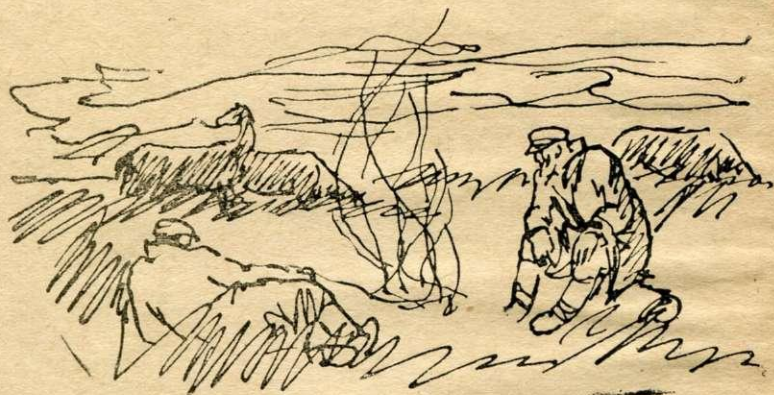
84.Евр(2р55)6-4

М60

ЗЕМЛЯ РОДНАЯ

Б. Мунд





84Евр. (2р55)6
✓ М60

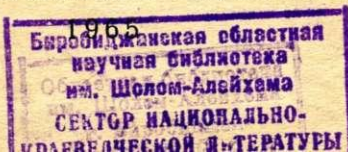
Б. МИЛЛЕР ✓

ЗЕМЛЯ РОДНАЯ ✓



П О В Е С Т Ъ
Р А С С К А З Ы

ХАБАРОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО





БРАТЬЯ

Повесть

1

— Да-а... Вот если бы сын мой, Сема, был жив... — говорила часто Лия Черновецкая своим соседям.

— Эх, будь у меня сын, как у людей... — безнадежно махнув рукой, добавляла она. — Так нет...

Лия Черновецкая, несмотря на свои шестьдесят с лишним лет, держалась прямо, ходила, высоко подняв седую голову. Горделивая осанка и неизменно строгое выражение лица молодили ее, но и придавали ей суровость и некоторую величавость.

Она исхудала, но изборожденное морщинами лицо и запавший рот все еще сохраняли черты, говорящие о решительности характера. Продолговатые, некогда иссиня-черные глаза хотя поблекли, но и сейчас темнели под белоснежными бровями. И только в те минуты, когда она

говорила о сыне, глаза ее вспыхивали; светилося в них неизбывное материнское горе. Знать бы только, что он жив, знать, что с ним, и она бы могла обрести покой на старости лет...

— Так нет, наказал меня бог... — заканчивала она разговор о пропавшем сыне, и глаза ее гасли.

Чаще всего Черновецкая изливала душу перед Полей Берман, жившей на втором этаже. Во всем этом, густо населенном доме, глядевшем окнами на две ближние сопки по ту сторону Биры, только Поля не имела детей.

У остальных соседей детей было много. Во дворе и на улице целыми днями возились малыши. Были и подростки, которые по утрам с веселым шумом отправлялись в школу, а к концу дня с таким же шумом бежали домой.

Были здесь ребята и девушки постарше, которые вместе с родителями возвращались усталые с работы — кто вечером, а кто утром, с ночной смены.

В годы войны многие из этого дома ушли на фронт и присылали родителям сложенные треугольником письма с адресами полевой почты.

Не так давно вернулись с фронта два рослых парня — один без ноги, другой с протезом вместо левой руки. У одного — медаль за битву на Волге, у другого — за оборону Севастополя.

Только у Поли Берман не было детей, и это сблизило ее с Черновецкой. Кроме того, обе они были из одного города на Украине, из Кировограда.

Пятнадцать лет назад, после внезапной смерти мужа — биндюжника — Черновецкая вместе с Полей Берман и ее мужем-столяром переехала в Биробиджан. За два года до этого он, ее сын Сема, уехал в эти края и с тех пор будто в воду канул.

Долгие вечера сидела Лия у Поли, возле старинного резного комода, привезенного еще из Кировограда. Комод

как будто и не изменился за эти пятнадцать лет, чего никак нельзя было сказать о его хозяевах, сильно сдавших за последнее время.

Даниил Берман, долговязый худой человек, несколько лет тому назад перешел на инвалидность и сейчас работал в своей же артели ночным сторожем. Каждый вечер, когда Поля возвращалась с галантерейной фабрики, где она работала, Даниил ужинал, произносил глуховатым голосом «спокойной ночи» и уходил на дежурство. Поля, невысокая живая женщина, была на десять лет моложе мужа. Но и она за последние годы заметно состарилась. Ее коротко стриженные волосы стали все больше пестреть серебристой сединой.

В своей просторной и безупречно чистой комнате на первом этаже Черновецкая могла по звукам, проникавшим через потолок, различать все, что происходит наверху, в комнате Поли: вот она возвратилась, вот уходит в свою артель ее муж. Тогда Лия, прихватив какую-нибудь работу, поднималась на второй этаж.

— Выпроводила старика? — спрашивала она, входя.

— Да, пошел на свою всенощную, — отвечала Поля и ставила для соседки стул возле комода, поближе к лампе.

Лия вязала чулок, а Поля оживленно хлопотала по хозяйству.

В эти вечера Лия могла вдосталь поговорить о своем сыне, в тысячный раз припоминая его высокий рост, могучую, унаследованную от отца силу, мужественные черты лица.

Однажды, собираясь уходить, Лия сказала:

— У тебя, Поля, никогда не было детей... У тебя никогда не болело так сердце. Но иметь одно-единственное дитя, такого сына, как мой Семен, и потерять его... Да что и говорить...

У Поли защемило в груди. Она подумала о том, как

тяжело этой старой женщине возвращаться каждый вечер в свою одинокую комнату, коротать бессонную ночь, и слезы навернулись у нее на глаза. Она незаметно смахнула их и долго еще не отпускала подругу домой.

— Что и говорить! — сказала Поля. — Но прошло уже столько лет... Тем более, такое время, такое страшное время... Война... А если бы тогда с вашим сыном ничего не случилось, кто знает, что было бы теперь... Шутка ли, такая война! Уже три года, и когда конец?... Вот у Ривы сын... Легче ей, что ли?

— У Ривы? — переспросила Лия.

Кто не знал сына Ривы Мандель? Тихий и смирный, он слова, бывало, громко не скажет. Окончив школу, ушел в армию, а потом на фронт, был снайпером.

Когда закончится война, — писал он в одном из писем, — и он вернется домой, его не узнают — он стал совсем другим.

Но недавно родители получили письмо от командира части, в которой служил их сын. «В одном из боев, — писал командир, — при взятии села Д. младший лейтенант Григорий Мандель пал смертью храбрых».

— Разве Риве легче? — повторила Поля.

После долгого молчания Лия проговорила:

— Кто знает...

И ушла.

Прислушиваясь к ее шагам по лестнице, Поля подумала, что в конце концов, быть может, ей, Лие, труднее...

2

Однажды Черновецкая, как всегда, собралась зайти к Поле, но вдруг, неожиданно для себя свернула направо по узкому, слабо освещенному коридору и подошла к последней двери, ведущей в квартиру Манделя.

Иосиф Мандель, помощник бухгалтера на одном из биробиджанских предприятий, читал газету за большим, ярко освещенным столом. Когда-то черные, густые, выходящие волосы его теперь сильно поседели и пореди.

Казалось, углубившись в газету, он искал в ней объяснение тому, что так и неясно для него по сей день, да уж, видно, неясным и останется...

Напротив него дочка Ася, ученица четвертого класса, готовила уроки. У Аси продолговатое миловидное личико, покрытое веснушками. Она старательно выводила что-то в тетради, склонив голову набок и прикусив кончик язычка.

В другом конце комнаты, в резной кровати, возле стенки с ковриком, на котором были вышиты смешные медвежата, спал маленький мальчик. Рива, болезненная на вид женщина с большими водянистыми глазами, возилась в отгороженном кухонном углу.

На стене под зеркалом веером развешаны семейные фотографии.

В комнате все, казалось, было как обычно, тем не менее чувствовалось, что на всем лежит неизгладимый след большого горя.

Когда Лия вошла, Иосиф Мандель оторвался от газеты. Ася удивленно подняла голову, а Рива бросила свою работу, не заметив, что просыпала кирпичный порошок, которым чистила посуду.

Первым пришел в себя Иосиф.

— Заходите! Садитесь! — пригласил он Лию, нерешительно остановившуюся у порога.

— Такой гость, — отозвалась Рива и тут же залилась слезами.

— Что вы скажете? Какое горе!..

Приход соседки разбередил свежую рану.

Иосиф опустил голову, Ася нечаянно посадила кляксу на чистую страничку.

Черновецкая села. Она понимала, как неожидан ее приход для соседей: после того, как те получили извещение о гибели сына, к ним не решались заходить. Но ей казалось, что она одна в состоянии утешить их. Лия сказала:

— Мое горе больше.

— Каждому кажется, что его горе больше, — ответил Мандель.

— Вы, по крайней мере, знаете, как он погиб и за что, — тихо проговорила Лия и после минутного молчания добавила: — А у меня и этого нет...

...Ася давно спит, раскинув руки на синем одеяле, Мандель все еще сидит над газетой, ничего в ней не видя, и Рива неподвижно стоит возле печи.

Наконец Мандель поднимает голову, снимает очки, прищурив близорукие глаза, говорит:

— А ведь она, пожалуй, права...

— Кто? — не поняла Рива.

— Лия. У нее действительно и этого утешения нет...

Рива молчит.

У себя в комнате Лия ложится, не зажигая огня, но заснуть не может. Теперь она знает наверное, что ее горе больше и что ей нет утешения.

3

Лия родила сына-первенца на восьмом году после свадьбы, в тридцать лет с лишним. Больше детей не было. Сема рос единственным ребенком-баловнем.

Когда мальчику было пять лет, мать, гуляя с ним, встретила известного в городе старичка врача, к которому раньше неоднократно обращалась. Врач остановился, увидев рослого, упитанного мальчугана. Указав серебряной рукояткой трости на ребенка, старик спросил:

— Вот это он и есть, ваш долгожданный?

— Да, — ответила Лия.

— В таком случае, — дробно рассмеялся доктор, — горевать нечего! Если у вас больше не будет, хватит и этого одного. Ишь ты, бутуз какой!

Старик ушпинул его за щечку и попрощался с ним за руку, как со взрослым.

— Вот увидите, он вам целую дюжину заменит! — снова рассмеялся он.

Семе еще не исполнилось и шести, когда соседи по дому на Дворцовой улице, где они жили, стали приходить к Лие жаловаться: сын ее колотит их ребят.

— Ну что же я могу сделать? — разводила руками Лия. — Ваши дети старше, пусть сдачи дают...

Мать сказала отцу — надо что-нибудь предпринять. Но Азриэль Черновецкий, приземистый, широкоплечий силач, биндюжник, в ответ раздражался громовым хохотом.

— Вот это я понимаю! Вот это по-моему! Молодец! Настоящий, не ледащий!

Это было у Азриэля высшей похвалой. Уж если он, бывало, скажет про коня, что тот «настоящий, не ледащий», то лишнего целкового за него не пожалеет.

— Один, да стоящий! — хвастал он своим подрастающим сыном.

Но Сема был молодцом не только по части драк. Родители и не заметили, как он научился читать и писать и к семи годам умел расписываться за отца.

Когда мать привела его в школу, мальчик был на полтора года моложе и на полторы головы выше остальных ребят.

А в двенадцать лет он исчез из дому. Вместе с ним скрылись куда-то еще несколько его товарищей по классу, и только через неделю их доставили откуда-то из-под Кременчуга.

Добиться от мальчишек чего-нибудь путного оказалось совершенно невозможно. Только один из них, которого как следует взяли в оборот, сказал, что инициатором затеи был Семен. Принялись за него. После долгих расспросов, он, наконец, назвал то место, куда они направлялись. Лия поняла, что это где-то за тридевять земель, у черта на куличках, — она даже не могла выговорить названия.

Каково же, однако, было ее удивление, когда заведующая школой, седая миловидная женщина, к которой та прибежала в страхе, спокойно заговорила о каких-то книжках Фенимора Купера и Майн Рида...

Безумными глазами Лия смотрела на нее, ничего не понимала, ушам своим не верила.

— Что вы мне рассказываете? — возмутилась Лия. — Какой там еще Майн Рид? Пропади он пропадом! Что вы делаете с моим ребенком! Единственным! Горе мое...

С этих пор она стала следить за каждым шагом сына.

Однако Семен раньше ее забыл о случившемся и до самого окончания школы не обнаруживал страсти к путешествиям.

Окончив школу, он поступил в строительный техникум. Мать пыталась его отговорить, ей по душе была бы какая-нибудь другая специальность. Почему бы ему, например, не стать зубным врачом?

Семен был высоким, стройным юношей с густыми вьющимися волосами и карими глазами, сверкавшими из-под почти сросшихся бровей. Он был комсомольцем и первым заводилой в веселой ватаге ребят и девушек, товарищей по школе.

В ответ на уговоры матери Семен сказал:

— Все специальности, мама, хороши. Но в каждую пору бывает так, что одна из них является главной. Сейчас — это специальность строителя.

Мать ничего не ответила. Да и что она могла возразить? Она уже привыкла к тому, что сын ее должен быть всегда одним из первых. Если он говорит, что специальность строителя сейчас самая важная, стало быть, так оно и есть и бесполезно его отговаривать.

Прошло еще несколько лет. Семен окончил техникум с отличием и собирался ехать на крупную стройку недалеко от Запорожья — пройти практику, чтобы потом поступить в институт.

К этому времени стало известно, что правительство предоставляет трудящимся евреям свободные земли в Приамурской полосе Дальневосточного края, включающие Биробиджанский район.

В те дни многие стали собираться в путь, но Лия была далека от мысли о том, чтобы расстаться с насиженным местом, где родилась и прожила жизнь. Слушая бесконечные разговоры соседей и знакомых о новых местах, Лия считала, что к ней все это не имеет никакого отношения.

Она поняла, что местность эта где-то страшно далеко, еще дальше Сибири, наверное, дальше тех краев, куда отправился, будучи школьником, ее сын. Лия и слушать не хотела об отъезде. И особенно тогда, когда узнала, что одним из первых туда собирается Лемех Лемперт.

Этот человек никогда не пользовался симпатией жильцов дома на Дворцовой улице. Знали, что он побывал везде и всюду и нигде не сумел пристроиться к какому-нибудь делу. Это был приземистый, коротконогий человек с редкой, всегда аккуратно расчесанной седоватой бородкой. Трудно было смотреть ему в глаза — они все время беспокойно бегали. Одет Лемперт был всегда чистенько, в руках вертел тросточку.

Известно о нем было, в общем, очень мало. Знали, что он когда-то вел богатую жизнь в Одессе. Источники бо-

гатства Лемперта, судя по всему, были весьма сомнительные, так как он скоро угодил в тюрьму. Потом приехал в Кировоград, открыл галантерейную лавку, но лавка, очевидно, служила ширмой для каких-то других дел. В результате он снова попал в тюрьму. А потом Лемперту стало уже не до лавки — время было не то.

Знали также, что Лемперт, приехав в Кировоград, объявил себя бездетным вдовцом и женился на женщине гораздо моложе его. У них родилась девочка. А спустя некоторое время, когда он уже был в тюрьме, в Кировоград приехала пожилая женщина с двумя мальчиками-подростками и заявила, что она жена Лемперта из Одессы, что она его разыскивает бог знает сколько и наконец узнала, куда он девался...

И вот этот человек сейчас стал упорно говорить о своем намерении ехать на новые места.

— Ну, конечно... Лемех Лемперт едет, и вы едете, — говорила Лия. — Но тот, по крайней мере, от двух своих жен удирает, а вы чего?

Этот вопрос не без ехидства задала она однажды товарищам мужа, биндюжникам, когда они, пропустив по стаканчику, заговорили о поездке в Биробиджан.

Потом муж ее, правда, очень робко, пытался закинуть словечко об этом, но обычно встречал такой выразительный взгляд, что дальнейшее обсуждение вопроса само по себе отпадало.

— Ну как? — спрашивали его биндюжники.

— Не выйдет! — отвечал Азриэль. — Она и слышать об этом не хочет.

— А что она говорит?

— Сами, кажется, слышали... Больше ничего... Да я и без слов понимаю. Уж она у меня такая... Настоящая, не лядащая...

— Стало быть, кончен разговор?

— Стало быть, так...

Как раз в это время, в один из жарких летних дней, Семен пришел домой и еще с порога чуть виновато, но с хорошо знакомой матери настойчивостью сказал:

— Мне надо с тобой поговорить...

Лия возилась на кухне.

— В чем дело?

— Я еду.

— Куда? — спросила Лия, не оборачиваясь.

— На Дальний Восток.

Лия рассмеялась.

— Чего ты смеешься, мама? — оторопел Семен.

— Тебе, я думаю, уже не двенадцать лет! — сказала она.

— А что такое? — не понял он.

— Забыл разве? В двенадцать лет ты удрал из дому... Куда это ты тогда собирался? Хоть убей, не выговорю.

— Вот ты о чем! — Семен вспомнил о своем путешествии и тоже рассмеялся. — Так ведь я мальчишкой был.

— Вот я и говорю — мальчишкой...

— Сейчас, мама, серьезно.

— Серьезно? — отозвалась мать и окинула сына таким же выразительным взглядом, какой недавно уже решил вопрос о поездке в Биробиджан Азриэля.

Однако Семен и не думал кончать на этом разговор.

— Ну чего же ты стоишь? — с удивлением спросила она.

— Мама, я решил твердо, — тихо произнес он.

Лия резко обернулась к сыну:

— А в чем дело? Чего тебе там понадобилось? Здесь тебе чего не хватает? Нет, скажи на милость, чего тебе здесь не хватает?

— У меня здесь все есть.

— Так в чем же дело?

— Я нужен там...

— Вот оно что... — насмешливо протянула Лия. — А почему ты это знаешь? Зовут тебя туда?

— Да, мама, зовут...

По тону, каким это было сказано, Лия поняла, что спорить бесполезно. В этот день об этом больше не говорили.

На следующий день, видя, что Семен не передумал, Лия сказала уже мягче:

— Скажи, пожалуйста, где это сказано, что ты там должен быть первым? Местность новая, далекая, ты о ней толком ничего не знаешь. Пусть пока едут другие, посмотрят, что это такое, можно ли там жить. Успеешь, не опоздаешь...

Семен изменился в лице, побледнел.

— Ждать я не буду! Я сам должен быть там!

— Бойшься уступить другим эту честь? — усмехнулась Лия. — Лемех Лемперт тоже хочет быть там первым...

Конечно, лучше бы она этого не говорила. Он шагнул к ней и с дрожью в голосе проговорил:

— Вот именно, поэтому я и должен быть там первым! Чтоб такие, как Лемперт, не испоганили землю, которую дали нам... честным людям...

— В таком случае, — ответила Лия, отвернувшись, — запомни: если уедешь, сына у меня больше нет! Можешь и не писать мне ни с дороги, ни с места... Кончено! И отец, знай это, думает так же...

Лия искоса взглянула на сына и поняла: все равно он уедет.

— А во-вторых, — твердо и страдальчески добавила она, — знай: если ты уедешь, я этого не переживу.

Прошло несколько месяцев, но от Семена не было никаких известий. Отец заметно осунулся. В бороде засеребрилась проседь.

— Ехать надо, и кончено! — советовали биндюжники, присматриваясь к своему товарищу. — Тут, без сына, тебе, видать, с собой не сладить...

Все чаще и смелей заговаривал Азриэль с женой:

— Надо ехать! — твердил он. — Кончено! Ничем не поможешь.

Лия молчала. Проходили дни и недели, а от сына по-прежнему не было вестей.

— Нет у меня сына! — твердила Лия. — Если он мог взять и уехать, я его знать не желаю...

Спустя полгода, уже зимой, пришло первое письмо.

Он помнит, писал Семен, что родители отреклись от него и просили его не писать. Тем не менее он считает своим долгом сообщить, что давно прибыл на место, живет и работает. Жизнь не легкая. Но он ни о чем не жалеет. Наоборот, все оказалось гораздо интереснее, чем он предполагал. Работы очень много как раз по его строительной специальности. А это — главное. Особенно дорого ему то, что место новое, что все приходится начинать с самого начала и что он — один из первых зачинателей.

Вот и все, что было в этом письме. Отец говорил, что надо немедленно ответить, но Лия не разрешила.

— Мое слово твердо! — говорила она.

Ее все еще не покидала тайная надежда, что своим упорством ей удастся сломить упорство сына и он вернется.

Но тут на нее свалилось горе. Однажды в морозный день биндюжники привели коня и сани старого Черновецкого. Почуввав недоброе, Лия, как была, без шали, выбежа-



ла из дому. В санях, накрытый рогожей, лежал ее муж.

— Вез железо, — рассказывал один из возчиков. — Весь день был какой-то сам не свой. Дорога под гору... У коня подкова отлетела. Конь поскользнулся, сани накренились, и огромный ящик железа — прямо на него.

— Даже охнуть не успел! — добавил второй и опустил голову.

На следующий день Азриэля похоронили.

Лия не выдержала. К тому же она жестоко простудилась — врачи установили двухстороннее воспаление легких. Приехала, вызванная телеграммой из Шполы, старшая сестра Лии, которую она не видела уже много лет, — рыхлая старушка с выцветшими, постоянно слезящимися глазами.

Ежедневно приходили врачи. Однажды они сказали сестре Лии:

— Принимая во внимание возраст больной — ведь ей за пятьдесят, а также то, что она много пережила за последнее время, надо быть готовым ко всему...

Как раз в эти дни собрался наконец в путь и Лемех Лемперт. Он отделался от первой жены, обещав высылать ей деньги, вторую жену оставил дома. Он, видимо, прослышал, что лето на Востоке дождливое, а зима не такая уж суровая, и решил, что лучше всего ехать зимой. Он будто бы собирался поселиться в одном из вновь организуемых колхозов и даже подал заявление.

Соседи слышали, как он говорил жене:

— Проезд в один конец уже обеспечен... Что я на этом деле теряю? Пронюхаю... Понравится — ладно... А нет, так я уж как-нибудь вернусь. Из своего кармана докладывать не придется...

Перед отъездом Лемех зашел к Лие — может быть,

она передаст привет сыну. Никем незамеченный, вошел он и остановился на пороге. В душевной комнате остро пахло лекарствами. Два врача, один постарше, второй — совсем молодой, сидели у кровати. Лия лежала в забытьи. Сестра ее стояла у изголовья понурившись. Врачи бесшумно поднялись, переглянулись, отозвали сестру Лии в сторону.

— Будьте готовы ко всему... — донеслось до Лемперта.

«Видать, не придется привета передавать», — и Лемех так же незаметно, как появился, вышел из комнаты.

В ту же ночь он уехал.

5

— Знают они много, твои врачи! — говорила Лия Черновецкая сестре, когда кризис благополучно миновал. — Выдумали тоже, умирать... Нет, мы, Черновецкие, не из жидкого теста. Нас не сломишь!

Прошла неделя—другая, и Лия встала на ноги. Искушавшая за время болезни, она казалась выше. В иссиня-черных волосах замелькало серебро. Сестра уехала. Лия почувствовала себя совсем одинокой.

Потянулись унылые, безрадостные дни.

Время от времени в городе устраивали доклады и лекции, посвященные вопросам переселения в Биробиджан. На одну такую лекцию однажды заглянула и Лия. «Может быть, — думала она, — удастся узнать что-нибудь о сыне».

На крайней скамье, у самого выхода, уселась она с таким видом, будто готова была в любую минуту покинуть этот большой, переполненный зал. Рядом с нею сидела коротко остриженная женщина с добрыми серыми глазами на полном лице. Они познакомились. Это была Поля Бер-

ман. Оказалось, что Поля Берман жила на той же Дворцовой улице, что и Лия, только в противоположном конце.

Невысокая Поля то и дело приподнималась со скамьи, чтобы лучше разглядеть оратора — немолодого человека в очках.

— Из Москвы приехал, — с важностью шепнула Поля.

Голос у лектора был хоть и глуховатый, но достаточно громкий, и каждое слово его отчетливо слышали в притихшем зале. Время от времени то в одном, то в другом конце раздавался чей-нибудь шепот:

— Вы слышали, там уже кое-что отстроили...

— Это уже — район!

— Ну, дело верное!

Лектор рассказывал, что Биробиджану оказывают большую помощь трудящиеся Москвы, Ленинграда, Харькова, Минска и других городов. Правительство ассигнует значительные суммы на освоение природных богатств, на развитие промышленности и сельского хозяйства этого края.

— Для этого, — говорит он, — там имеются все необходимые условия. — И, обернувшись к карте, он стал подробно рассказывать о Дальнем Востоке, о Биробиджане.

— Слыхали? — говорила Поля Лие, когда они поздно вечером возвращались домой. — Это, оказывается, богатые места. Я и не знала. В Крыму, говорят, почва каменистая и воды нет, а там всего вдоволь и земля нетронутая. Слыхали, какие там горы, реки, леса!

Лия, еще слабая после болезни, шла медленно, кутаясь в темную шаль, и молчала. Поля недоуменно поглядывала на нее. Сама она была чрезвычайно взволнована всем услышанным.

— А что вы скажете о рыбе, — восторженно говорила Поля. — Слыхали, там ею кишат реки. А тут завалящий карась — редкость...

— Даже если не все, что он говорил, — правда, — наконец глухо промолвила Лия, — все же это интересно.

Поля не поняла, говорит она серьезно или издевается. Она все не могла успокоиться.

— А что вы скажете про эти сокровища в горах — и золото, и уголь, и...

— Золото и уголь? — переспросила Лия. — Они, скорее, не в горах, а глубоко в земле...

— Неважно где, — нетерпеливо перебила Поля. — Главное — что они есть! Я всего не запомнила, о чем он там еще говорил, — известь и...

— Что и говорить — золотые горы! — сказала Лия, и на этот раз Поля явственно почувствовала насмешку в ее голосе.

— Вы что же, не верите? — удивленно спросила она и прибавила с досадой: — Зачем же, в таком случае, ходить, слушать?

— Разве это кому-нибудь запрещено?

— Нет, конечно, — со злостью ответила Поля. — Глупости говорить тоже никому не запрещено...

Лия остановилась и смерила ее взглядом.

— Не знаю, кто из нас говорит глупости...

Женщины поругались бы не на шутку, но оказалось, что они уже стояли у двора Лии. Та сухо кивнула и вошла в дом.

Оставшись одна, Лия стала вспоминать все, что услышала о тех местах, куда уехал ее сын. Она ничего о них не знала. А Сема, подумала она, знал больше, раз туда поехал. Но почему же, ломала она голову, почему нет ни звука от него? Он не ответил даже на то письмо, в котором она сообщала о смерти отца. Правда, кроме этого, она тогда ничего не написала...

Лия стала жадно ловить каждую новую весточку о тех местах, куда уехал ее сын.

Спустя некоторое время в городе появилось несколько человек, приехавших оттуда. Лия кинулась к ним.

Однажды, возвращаясь от одного из них, она заметила на противоположной стороне узкой улицы Полю и окликнула ее.

— Что же, — спросила она, отходя за угол, чтобы не мешать прохожим, — вы все еще верите в золотые горы, обещанные вам? Вот послушайте, что говорят люди, побывавшие там.

— Кто-нибудь вернулся? — удивленно и испуганно спросила Поля.

— От одного такого человека я и иду.

— Кто он?

— Это неважно. Вы его не знаете.

— Но что он рассказывает?

Лия доверительно коснулась Полиной шали.

— Во-первых, это еще совершенно необжитые места. Глушь. Можно проехать сотни верст и ни одного селения...

— А то, что рассказывают о горах, о реках, о рыбе? — недоумевала Поля.

— Все это, говорит он, может быть, и правда, но там ни пройти, ни проехать... Туда, говорит, привезли новехонькие машины, и как застряли они в грязи, так и не вытащили их оттуда...

— Что же там, топи такие?

— Не приведи бог...

— Не пойму, как там люди живут? — удивлялась, не веря, Поля.

— А лес, — торопилась рассказать Лия, — лес там вовсе не похож на наши леса, и зовут его не так, как у нас. Там это — тайга. И тянется она без конца без края на тысячи верст...

— Стало быть, правда, что рассказывают и о лесе, тамошнем богатстве, — перебила Поля.

— Да-а... Особенно богата тайга эта комарьем... От комаров нет спасенья.

— Но солнце, — не успокаивалась Поля, — правда ли, что солнце там греет одинаково и зимой и летом?

— Солнце? Солнце, говорит он, действительно, могло бы греть круглый год. Да беда в том, что лето дождливое, а зимой дуют ветры, и такие морозы, каких у нас, на Украине, никогда не бывает — до пятидесяти градусов...

— До пятидесяти градусов!

— Вот вам и зима, и лето, и золотые горы... — закончила Лия, выразительно глянув на Полю.

Поля пожала плечами. Собралась уже уходить, но вдруг остановилась:

— Не правда ли, вы тогда не поверили тому, что рассказывал докладчик из Москвы?

— Я вам сразу же сказала...

— Ну вот... А я вашему знакомому не верю, совсем не верю... Передайте ему, пожалуйста, от моего имени, что он врёт...

— Помилуйте, человек только что оттуда!

— Вот именно, потому что оттуда... А чего же вы хотели, чтобы он хвалил те места? Ведь он же удрал!

— А почему он в самом деле удрал? От добра не бегут.

— Не каждый знает, где оно — добро... — сказала Поля.

Они помолчали. Видя, что Лия остается при своем мнении, Поля добавила примирительно:

— Возможно, что слухи о золотых горах преувеличены. Но те, что рассказывают о сплошных топях, тоже выдумывают! Не так страшен черт, как его малюют... Знае-

те, что я вам скажу: надо побывать там самим, тогда не-
зачем будет слушать всякие рассказы...

Дома Лия долго не могла найти себе места. Работа
валилась из рук. Она не знала, что и думать.

После долгих колебаний Лия отправила сыну письмо.
Это было длинное, подробное письмо, в котором она рас-
сказывала сыну о болезни, от которой до сих пор не мо-
жет оправиться, о своем одиночестве, и в последний раз
просила его вернуться домой...

«Не может быть, — подумала она, — чтобы теперь он
не вернулся...»

6

Прошел месяц—другой. Ответа на письмо не было.
Между тем вернулся Лемех Лемперт. В тот же день Лия
отправилась к нему. Потом она долго не могла забыть,
как ошеломил Лемперта ее приход. Он стал пятиться к
стене, закрывая руками лицо, словно не верил своим гла-
зам.

— Что случилось? — спросила Лия жену Лемеха. —
Что с ним?

— «Шма Исроэл!»* — повторил Лемех. — Это вы, Лия?

— А кто же еще? — ответила она. — Что с вами?
Или я так изменилась? Не узнаете?

— Значит... стало быть, вы... живы, стало быть? —
все еще дрожа, пролепетал Лемех, осторожно шагнув ей
навстречу.

Лия вспыхнула.

— А вам разве кто-нибудь говорил, что я...

— Ну, как же... Люди рассказывали... Приезжали и
рассказывали...

* Начальные слова молитвы, якобы спасающей от всяческих
бедствий и страхов. (Прим. переводчика).

— Кто приезжал? Кто рассказывал? — наступала Лия.

— Мало ли кто... Там, в Биробиджане...

— В Биробиджане?!

— Ну, конечно! Сам слышал... Чуть ли не полгода тому назад, вскоре после того, как я туда приехал...

— Но кто? Кто рассказывал?

— Не помню! Мало ли туда едет народу...

Когда оба пришли в себя, Лия, замирая от страха, спросила о сыне. Ей очень не хотелось говорить об этом с Лемехом, но что делать, — он был единственным, кто мог ей что-нибудь рассказать.

Да, отвечал Лемех, он видел его, сразу же по приезде. Как он выглядит? Вырос за это время чуть ли не на голову, плечи раздались вширь — настоящий гвардеец! Уважают его в Биробиджане, даже сказать невозможно, как! Назначили начальником какого-то строительства. Шагает в резиновых сапогах по болотам, всем и каждому показывает: вот тут будет театр, тут школа, а там — горсовет... Ни о чем другом, кроме строительства, думать не хочет и радуется так, как будто все это он сам уже построил...

— Почему же он не отвечает на мои письма? — нетерпеливо перебила Лия. — Я писала о смерти отца, потом еще писала...

— Почему не отвечает? — удивился Лемех. — Но как же он мог вам отвечать...

— Неужели он все еще думает, что я не хочу получать от него писем. Ведь я писала...

— Нет... Я имею в виду другое.

— Что?

— Он знает...

— Что он знает?

— Что вы...

Страшная мысль мелькнула в голове Лии.

— Что вы такое говорите, Лемех? — крикнула она.

— Ну, конечно! — с облегчением вздохнул Лемех, увидев, что она поняла.

— Как, как он узнал?

— Говорю же вам... Он сам мне рассказывал... Откуда же мне было знать? — сказал Лемех, а глаза его беспокойно бегали, избегая взгляда Лии.

Лия тяжело опустилась на стул, долго молчала, наконец, тихо проговорила:

— Ну, и как же он отнесся к этому?

— Да как же он мог отнестись? «Нет у меня, — сказал он, — стало быть, больше ни отца, ни матери...»

— А о возвращении вы говорили с ним?

— Ну, а как же!

— И что же?

— Об этом он и слышать не хочет! Куда, говорит, возвращаться? К кому? Да если бы и было к кому, сказал он, отсюда я не уеду. Так и сказал.

— Что же, там действительно так хорошо?

— Если трудно — это хорошо, то там неплохо...

— Значит, он не уедет, раз там трудно? Да?

— Этого я вам сказать не могу! — признался Лемех.

Лия поднялась и направилась к двери. Но на пороге она остановилась.

— Да. Скажите, пожалуйста, а сейчас, перед отъездом, вы его видели?

— Видеть не видел, но слышал...

— Что?

— Слышал я... Вы только не пугайтесь, не принимайте близко к сердцу... Возможно, что все это пустяки.

— Что случилось? Не тяните!

— Когда начались бои на границе, у железной дороги, то есть у КВЖД, — читали, наверное, в газетах, — сын ваш стал упрашивать, чтобы его послали туда...

— Куда?

— В армию. В самый огонь. Его с работы отпускать не хотели. А он твердил свое: я приехал сюда строить и не желаю, чтобы мне мешали. Огонь надо гасить вовремя, говорит...

— И что же?

— Ему говорили: ты делай свое дело, а гасить огонь есть кому и без тебя. Но он и слушать не хотел: он сам должен быть там.

— Да! — вздохнула Лия. — Конечно, везде он должен быть первым...

— Словом, он добился своего. Его послали.

— Послали?

— Да. Что с ним дальше было, не знаю. Пока что, говорят, он еще не вернулся...

— Значит, может быть, — тихо проговорила Лия, — что... Об этом там не говорили?

— Кто знает...

— Не может быть! Не верю я! — Лия вдруг поднялась во весь рост, стукнула тростью об пол, закричала: — Я его разыщу!

В комнату вбежала перепуганная жена Лемеха.

— Вы лжете, Лемех! — кричала Лия. — Сема... Мой Сема жив!

Распахнув двери, Лия в разметавшемся темном платке выбежала во двор — как будто вылетела большая черная птица.

7

Через несколько дней, в конце августа 1930 года, спустя два с лишним года после отъезда Семена, Лия уехала в Биробиджан.

Две недели в дороге она пролежала на жесткой полке в общем вагоне, и ей все время казалось, что сейчас с нею

случится обморок. От непривычки к езде, от беспрестанного стука колес, частой смены пассажиров — мужчин, женщин, военных и штатских, то и дело входивших в вагон и выходивших на каких-то неизвестных ей станциях, — у нее кружилась голова.

Бывали минуты, когда она думала, что не выдержит, не доедет. Больше всего она боялась, что умрет не так, как умирали все ее близкие, умрет на колесах, по пути в неведомые края, среди гор, рек и мрачных, как преисподняя, туннелей...

Одно только было хорошо: никто из пассажиров не обращал на нее внимания и не приставал с расспросами. Она почти ничего не ела — не хотелось, лежала, неотступно думая о своем, и тихо стонала от непрекращающейся головной боли.

Примерно на пятые сутки в вагон вошел пожилой военный с миловидной молодой женщиной и девочкой с золотистыми косичками и васильковыми глазами. Они заняли освободившиеся места напротив Лии. Девочка, освоившись, уже на следующий день стала тормошить Лию:

— Бабушка, а бабушка, почему ты с полки не слезаешь? Ведь ты заболеешь, если будешь все время лежать...

Девочка часами простаивала у окна, восхищаясь всем, что видела, то и дело звала отца, мать и Лию:

— Смотрите, смотрите! Чего вы не смотрите? Какие горы высокие! О, как страшно!

— А вон березки... Сколько их, мама! Одни березки — и внизу, и на горе...

— Сейчас большой город будет! Папа, смотри, какие высокие трубы...

Родители девочки были славные люди. У них нашлись для Лии порошки от головной боли. Особого облегчения порошки не принесли, но она была им благодарна за внимание.

Узнав, что Лия едет в Биробиджан, отец девочки, Иван Григорьевич, — так к нему почему-то обращалась жена, — произнес с большим уважением, относившимся то ли к Биробиджану, то ли к Лие, ехавшей туда:

— Знаю. Знаю, как же..

— Как, и вам известно о Биробиджане? — удивилась Лия.

— Что же тут удивительного? — не понял военный. — Об этом пишут в газетах.

— Недавно уехал туда один наш знакомый из Ленинграда, — вмешалась в разговор его жена.

— Строитель, — добавил Иван Григорьевич. — Его послали туда.

— И мой сын уехал. Тоже строитель. Его не посылали, он сам уехал, — сказала Лия.

— Давно? — спросила жена военного.

— Вот уже два года.

Иван Григорьевич, прищурившись, глядел на Лию.

— А вы, наверно, противились, не отпускали?

— Откуда вы знаете? — изумленно взглянула на него Черновецкая.

— Ведь так? — улыбнулся военный. — Старики всегда с трудом отрываются от насиженных мест. А молодежь стремится к новому. И правильно. Биробиджан — новое, большое дело!

Лия слушала и все больше изумлялась. Иван Григорьевич, русский человек, говорил об этом совсем как ее сын.

Девочка, стоявшая у окна, вдруг с таким восторгом захлопала в ладоши, что родители быстро встали и даже Лия рискнула подняться с места и глянула в запыленное стекло.

— Байкал! — радостно воскликнула девочка. — Смотрите, вот он, Байкал!..

Среди расступившихся голубоватых гор с едва замет-

ными на фоне неба белоснежными вершинами Лия увидела зеленоватую, ослепительно сверкавшую на солнце водную гладь... Казалось, поезд мчится прямо по воде... У Лии zakружилась голова. Она упала.

Пассажиры, стоявшие у окна, бросились к Лие и с трудом привели ее в чувство.

Спустя двое суток попутчики Лии вышли на одной из маленьких станций. Прощаясь, Иван Григорьевич сказал:

— Я буду недалеко от ваших мест. При случае с удовольствием наведаюсь.

Теперь, когда она осталась одна, тяжелые мысли стали одолевать ее. Вспоминался покинутый родной город, домишко, доставшийся ей от родителей, кладбище, на котором остался Азриэль. Думала она и о своей сестре из Шполы. До болезни Лия не виделась с ней шестнадцать лет. А ведь от Шполы до Кировограда меньше суток езды. Сейчас Лия едет уже которые сутки, а конца все не видеть. Конечно, сестру свою она никогда больше не увидит... А увидит она своего сына? Найдет ли она его?

— Это оно и есть? — спросила Черновецкая, выходя из вагона и с трудом ступая отвыкшими от ходьбы ногами. — Это и есть Биробиджан?

Она обращалась к Берманам. Они стояли одни на платформе, на которой не было даже станционного здания. Куда-то вдаль убегали рельсы.

Поля и Даниил ехали тем же поездом. Но в Москве они не смогли попасть в один вагон и только время от времени заходили проведать Лию.

— Стало быть, это и есть Биробиджан? — удивленно повторила Лия, когда поезд, хриловато прогудев, ушел, оставив их одних с узлами на станции.

— Очевидно... — проговорил Даниил, озираясь по сторонам, и вдруг хлопнул себя по мясистому носу.

— Что с вами? — удивилась Лия.

— Не знаю... Укусила какая-то чертовщина. Муха, что ли...

— Это, должно быть... — начала Поля, но, не договорив, схватилась обеими руками за лицо.

— Ага, — догадалась Лия, — это, наверно, и есть биробиджанский «гнус»! Стало быть, и в самом деле приехали!..

Занятые первой встречей с местными комарами, они и не заметили, как к ним подошел какой-то небольшого роста человек на кривых ногах, в резиновых сапогах, чуть ли не до верху забрызганных грязью.

— Вы переселенцы? — спросил он.

— А если переселенцы, так что? — раздраженно отозвалась Поля. Человек почему-то не внушал ей доверия.

— Да, да, переселенцы! — сказал Даниил, смущенный неожиданной резкостью жены, надеясь на то, что этот человек отведет их куда-нибудь, где можно будет укрыться от комаров.

— Чего же вы молчите? Так бы и сказали! Пойдемте, я отведу вас на переселенческий пункт.

— Это еще что такое? — насторожилась Лия.

— Это вроде гостиницы для переселенцев. Идемте!

При этом он деловито оглядел ноги прибывших. На Поле были поношенные туфли на низких каблуках, на Данииле — легкие ботинки. Человек сокрушенно покачал головой и обратился к Лие:

— У вас, бабушка, такое длинное платье — не вижу, что у вас на ногах.

— А какая разница? — обиделась Лия.

— Большая разница! — ответил тот. — Если у вас сапожки вроде моих, это еще куда ни шло. Но если вы,

извините, ходите в таких же гамашах, как они, то нам с вами будет нелегко... Ну, да ладно, придется, видать, двинуться дальним путем.

— А какой это дальний путь? — спросил Берман.

— Путь такой, что шагать немного дольше, но зато вы не оставите своих ботиночек в грязи.

— Неужели такая грязь?

— Грязь грязи рознь! Вот поживете, сами увидите, что без таких сапог, как у меня, здесь не обойтись. Пошли! Идите за мной.

— Боже мой! — вскрикнула Лия, как только вслед за провожатым сошла с песчаной насыпи.

— Что такое? — испугались Поля и Даниил.

— Боюсь идти дальше! — Лия повернула обратно.

— Почему? Господь с вами! — удивилась Поля.

— Боюсь, — кричала Лия. — Земля качается, как опара... Живьем проглотит...

— Не бойтесь! — успокоил провожатый. — Из этой опары когда-нибудь хороший хлеб будет. Не обращайтесь внимания! Шагайте... Привыкнете... Вы только за мной, след в след, идите. Куда я, туда и вы...

День был на исходе. Моросил долгий мелкий дождик, и вдали едва различались контуры домов. Многие были в лесах и казались издали, сквозь частую сетку дождя, остовами каких-то фантастических судов.

Даниил шел за провожатым, ему вслед ступала Поля, чутко прислушиваясь к тяжелым шагам шедшей за ней Лии. Но вдруг шагов не стало слышно.

— Лия! — тревожно крикнула Поля и обернулась. Лия стояла, опираясь на свою палку, и смотрела в сторону раскинувшегося вдали поселка.

— Погодите! — крикнула Поля ушедшим вперед мужчинам. — Лия, помочь вам? Не можете пройти?

Но та стояла, как вкопанная, и, казалось, ничего не слышала. Поля подошла к ней.

— Что с вами? Чего вы стоите?

— Ничего, ничего! — ответила Лия и вдруг расплакалась. — Скажите, Поля, разыщу я здесь своего сына?

— Господь с вами! Ведь мы же только что приехали! Погодите!

— Кто знает? — сказала Лия, вытирая слезы. — Но все-таки хорошо, что я уже здесь. Вы понимаете, Поля? Вот я стою, смотрю и не могу оторваться. Наверно, и Сема тогда стоял на этом месте... А там, видите, строят дома. Может быть, он строил их и лазил там? Мне кажется, я вижу его и на той горе... — Лия указала на дальнюю сопку. — Наверное, он был там не раз. Не может быть, чтобы высилась гора и чтоб он на нее не взобрался. Ведь я его знаю...

И, опираясь на палку, Лия пошла следом за Полей по зыбкой земле.

8

Медленно тянулись унылые дождливые дни, первые дни на новом неосвоенном месте. Даниил и Поля сразу же пошли работать на строительство: он — столяром, она — на подсобную работу. Лия устроилась в столовую и вскоре прославилась как искусная повариха, умеющая «из ничего» состряпать замечательные блюда.

Квартиру, только что оштукатуренную, еще сырую комнату, им предоставили на троих. Все они, сказали им при этом, из одного города, вместе ехали сюда, пусть некоторое время и проживут вместе. Может, придется еще кого-нибудь поселить к ним на время, не беда... В тесноте, да не в обиде. Это ненадолго.

— А мне, по правде сказать, было бы только где голову приклонить, — ответила Поля.

— Лучшего нам пока и не надо! — подтвердил добродушный Даниил.

Лия вообще молчала; ее это беспокоило меньше всего.

Недостроенный дом стоял на окраине поселка, в котором уже отчетливо намечались контуры будущего города. Неподалеку от дома высились две сопки. Одна из них была довольно высокая.

На работу уходили очень рано, возвращались поздно вечером усталые, и ночь проходила незаметно.

По соседству стоял большой барак. В нем жили строители. Были тут и евреи, недавно приехавшие из Белоруссии и Украины, и русские, и украинцы. Большинство было без семей, а некоторые жили уже с женами и детьми.

Вечерами, после работы, соседи готовили ужин во дворе и подолгу сидели у огня. Разговаривали о своих делах, а пламя выхватывало из темноты то одно, то другое лицо.

Тогда Лия и узнала, что многие, работавшие на стройке, знают ее сына. Все они хорошо отзывались о нем. Особенно дорог стал для Лии старый плотник, мастер на все руки Василий Петрович Дубов, один из лучших работников на стройке. Василий Петрович был местным старожилом. Он давно, еще с русско-японской войны, поселился здесь, имел свой небольшой, почерневший от времени, но крепко сбитый домик, всегда чистый и опрятный. Две его старшие дочери вышли замуж и имели свои дома. Один сын работал в паровозном депо в Облучье, другой — в Благовещенске. Остались с Василием Петровичем только жена — Домна Селивановна, высокая, очень полная женщина, вечно хлопотавшая по хозяйству, и две младшие дочери-подростки, которые ей помогали.

В доме Василия Петровича было просторно. Одна светелка, в которой прочно держался запах засушенных цветов, вовсе пустовала, и ее-то однажды Василий Петро-

вич предложил Лие, пока она не получит отдельную комнату.

— Не дело это, — говорил Василий Петрович, часто заглядывающий в небольшую комнату, где жила Лия вместе с Даниилом и Полей. — Тут и не отдохнешь после работы. Как же так старому человеку? Пустует у меня светелка, окажи милость, переселяйся пока...

Лия поблагодарила, но отказалась. Нехорошо, казалось ей, оставлять Даниила с Полей, да и не хотелось стеснять людей.

Однажды, придя с работы, Лия не на шутку испугалась, не найдя в комнате своих вещей. Но Поля тут же ее успокоила.

— Без вас приходил Василий Петрович. Он и забрал ваши вещи к себе.

— А вы где были? — рассердилась Лия.

— Я тоже считаю, — спокойно ответила Поля, — что вам на первых порах там будет лучше...

Лия переехала к Василию Петровичу. По вечерам, после работы, когда вся семья сидела за чаем, Василий Петрович рассказывал Лие о сыне:

— Полюбился он тут нам. Светлая голова и руки золотые. Все умел делать, за что ни возьмется, все, бывало, кипит под руками.

Это подтверждали и Домна Селивановна и даже девочки-подростки, которые тоже знали Сему.

Лия приходила к Даниилу и Поле и пересказывала им все, что слышала.

— Не знаю, — говорила она, — быть может, мне это говорят потому, что я мать.

— Что вы! — перебивала Поля. — И я, и Даниил тоже расспрашиваем всех о вашем сыне. И нам то же самое говорят, ведь так, Даниил?

— Ну и что, что же дальше, — вопрошала Лия и подносила платок к глазам. — Велико мое горе!..

Все рассказы о Семене обрывались на том моменте, когда начались бои в районе Китайско-Восточной железной дороги и он уехал туда.

Черновецкой сообщили, что в Амурском совхозе работает тракторист Вольф Гиршман. Первое время Семен тоже работал в этом совхозе и крепко подружился там с этим человеком.

— Может быть, он знает что-нибудь о вашем сыне! — подсказал ей как-то Василий Петрович.

Лия написала Гиршману. Спустя некоторое время, когда тот был в городе, она встретилась с ним, пригласила к себе.

Это был высокий смуглолицый парень, выглядевший несколько старше своих двадцати лет и чем-то напоминавший Семена, хотя тот был чуточку повыше и пошире в плечах.

— Подружились мы с ним еще в пути, — рассказывал Гиршман, позвякивая ложечкой в стакане с чаем.

Кстати, он, Гиршман, уехал из местечка в Винницкой области тоже против воли родителей. Он помнит, как тяжело переживал Семен разрыв с отцом и матерью, в особенности то, что мать даже не ответила на его письмо.

— Он часто говорил со мной об этом, — сказал Гиршман.

— А сейчас вы от него ничего не имеете? — спросила Лия.

— Сейчас? Когда Семен из совхоза переехал в Биробиджан, мы на первых порах переписывались. Потом он сообщил, что уходит в армию. И с тех пор я ничего о нем не знаю.

Работы было много, и Лия забывала о своем горе. Она встречалась с новыми людьми и чувствовала, что привыкает к ним, что-то связывает ее с ними как ни с кем до того. Раньше были люди, с которыми жила в одном городе, — соседи, знакомые. Но по-настоящему близкой была лишь семья — муж, сын.

Когда уехал сын, а потом умер муж, Лия осталась одна-одинешенька. Жизнь потеряла смысл. Оставалось одно — найти сына. Только за этим она и приехала сюда. Но здесь появилось что-то новое: перед общим делом отступали понемногу личные горести и невзгоды.

Однажды за ужином, когда все пили из больших кружек густо настоенный на ягодах кисловатый пахучий напиток, к которому Лия с трудом привыкала, Василий Петрович сказал, утирая мокрые усы:

— Сходила бы ты, мать, к Верхову.

— Кто это?

— Парторг наш, разве не знаешь?

— А чем он поможет? — Лия безнадежно махнула рукой.

— Не говори, Андрей Петрович — человек хоть и молодой, но душевный... Поможет!

— Да знал ли он моего сына? И без меня у него дел много.

— Нет, мать, — решительно сказал Василий Петрович, отставив поднесенную к губам кружку. — Этого ты не говори. Коммунистам до всего дело есть.

Лия обещала обратиться к парторгу, не возлагая, впрочем, на это особых надежд.

Вечером следующего дня Василий Петрович спросил:

— Ну, как, заходила к парторгу?

— Пошла я, а он занят. Людей, дел, вижу, много. Не до меня...

— Не принял?

— Может, и принял бы, не пошла я, Василий Петрович...

— Нет, мать, — недовольно проговорил старик. — Придется, наверное, мне самому тебя к нему проводить. Найдется у него время для твоего горя. Найдется!

— Да не знал он, Василий Петрович, сына. Чем поможет?

— А если сына не знал, тебя пусть узнает. А узнает — поможет. Совет даст.

На следующий день Василий Петрович привел Лию к парторгу.

— Вот, Андрей Петрович, — сказал он, — женщина наша, недавно приехала. Хорошо работает. Горе у нее большое, пособить надо.

— Та-ак, — внимательно взглянув на них, сказал парторг. — А ты, Василий Петрович, ей протекцию, что ли, оказываешь?.. Сама бы пришла...

— Не решается, — ответил Василий Петрович и ушел, оставив их одних.

Андрей Верхов был еще молод. На загорелом, сильно обветренном лице выцветшими казались густые белесые брови. Между ними, над переносицей, легла глубокая складка. Глаза были голубые, с веселыми искорками, внимательные, располагающие к откровенному разговору.

Выслушав Лию, Верхов помолчал, потом спросил:

— Никто не знает, где он теперь?

— Кого ни спрашивала, никто.

— Да... — задумчиво проговорил парторг и вдруг вскинулся: — Вот что! Мейлаха Фукса знаете?

— Кого?

— Старика Мейлаха Фукса.

Мысль об этом человеке, очевидно, чем-то была приятна Верхову. Он поднялся. Медленно шагая по комнате и время от времени останавливаясь напротив Лии, откидывая непослушно спадавшие на лоб волосы, он рассказывал ей о Мейлахе Фуксе, старике удивительно крепкого, могучего сложения. Приехав несколько лет назад на станцию Тихонькая из Кременчуга, где он работал грузчиком, он с несколькими своими земляками отправился в тайгу искать, где посуше да повыше. Присмотрев подходящее место, переселенцы поставили там первый шалаш, а немного позже и первый дом.

Когда дом был готов только наполовину, он привез сюда свою жену, женщину тоже крепкую, хотя и невысокую, худощавую, не намного моложе его, и самую младшую, восемнадцатилетнюю дочку, очень красивую девушку — все, что осталось от большой семьи: сыновей, дочерей, зятьев и внуков, разъехавшихся в разные концы страны.

Прошло немного времени, и люди, не знавшие раньше Мейлаха Фукса, не могли бы поверить, что этот старик и вся его семья не коренные местные жители, — так прочно осели они в тайге.

Неподалеку от дома Мейлаха колхоз поставил большую пасеку, первую в этих местах, и Фукс на старости лет стал пчеловодом. Жена и дочь помогают ему.

Дочь еще изредка приезжает в город за продуктами и для других дел, а Мейлах с женой почти не расстаются с полюбившейся им тайгой.

К этому человеку время от времени приезжал из Тихонькой Семен и проводил у него день-другой.

— Вот Фукс, наверное, знает что-нибудь о вашем сыне, — закончил Верхов.

— А может быть... может быть, его дочь? — с дрожью в голосе спросила Лия.

— Кто его знает? — неопределенно ответил Верхов,

и смешливые искорки вспыхнули у него в глазах. — Может быть, и дочь...

Лия поднялась.

Верхов подробно объяснил ей, как найти Мейлаха Фукса.

10

В первый же выходной день Лия отправилась к Мейлаху Фуксу. Старики были дома, а дочь ушла на несколько дней в колхоз. Узнав, что Лия — мать Семена, старики очень обрадовались, усадили пить чай, угостили прозрачным душистым медом.

— Работа моих «грузчиков», — заметил Мейлах. — Семен не раз лакомился этим медом. Скучаем мы по нему, как по родному.

— Очень к нему привыкли! — добавила старушка. — Да и он к нам...

Лия всячески пыталась выяснить, не имеет ли это отношения к их дочери. Однако ни Мейлах, ни жена намеков как будто не поняли, а спросить открыто Лия не решалась.

Одно было ясно: и здесь ничего неизвестно о сыне... С тех пор, как Семен ушел в армию, он не давал о себе знать.

— Раз так, — Лия встала из-за стола, не допив чаю, — я уже видно никогда ничего о нем не узнаю. Мне говорили, что у вас могут быть сведения о нем. Но уж, если и вы не знаете... Извините, что отняла у вас время.

Старик преградил ей путь.

— Кто сказал, что я о нем знаю? — спросил он.

— Парторг, товарищ Верхов.

— Товарищ Верхов не говорит неправды. Я-то как раз и знаю.

Глаза у Лии вспыхнули надеждой. Старик кивком головы попросил ее следовать за ним. Они вышли из дома, и Мейлах Фукс привел ее на пасеку. Здесь, на огороженной поляне, стояли рядами окрашенные в желтоватый цвет ульи. Пахло тайгой и медом. Пасека была похожа на небольшую фабрику, где множество маленьких тружеников делали свое дело под наблюдением хозяина-великана.

Мейлах Фукс дал Лии сетку, чтобы прикрыть лицо, и стал водить ее по пасеке.

Лия следовала за Мейлахом, безучастно глядя по сторонам, нетерпеливо ждала...

— К чему вы все это мне показываете? — не выдержала она наконец.

— Отвечаю на ваш вопрос.

— Не понимаю! — удивилась Лия.

Старик подвел ее к одному из ульев.

— Вот видите? Смотрите. Где только они не летают, где не бывают мои «грузчики» за день! По всей тайге носятся, вон до тех далеких сопок... Ищут, берут мед с деревьев, с цветов, с трав... Но куда бы ни залетели, возвращаются они сюда...

— Да... Ну и что? — сказала Лия. — Какое же отношение это имеет к сыну? Пока что я ничего не понимаю!

— Сейчас объясню. И если вы его мать, вы поймете, — сказал старик. — Всю жизнь я был грузчиком в Кременчуге. Потом приехал сюда, в глушь, в тайгу, поставил пасеку, собрал пчел, без пользы летавших здесь, и сказал им: «Будьте, голубчики, моими «грузчиками», трудитесь! Складывайте здесь все, что соберете. И вам хорошо, и людям радость, не так ли?»

— Ну и что же?.. — недоумевала Лия.

— Так вот, я говорю, пришел другой пасечник, покрупнее, чем я, дай ему бог здоровья, собрал всех нас, дал нам

много богатой земли и сказал: складывайте здесь все, что соберете. Поняли вы меня?

— Все это хорошо, — ответила Лия. — Но при чем тут мой сын? Ведь вы говорили, что знаете что-то о нем.

Мейлах Фукс прошел несколько шагов, остановился.

— Вот потому-то я и знаю... Если вы хотите когда-нибудь его увидеть, ни в коем случае не уезжайте отсюда! Запомните совет, который дал вам Мейлах Фукс...

— Вы думаете, что он приедет...

— Сюда он обязательно приедет. Через год, через два, через десять, но приедет! Не говорил бы я этого, если бы не знал вашего сына!

— И вы действительно в этом уверены? — с дрожью в голосе спросила Лия, думая о дочери пасечника. — Кто же вам так твердо сказал?

— Кто? Очень просто...

Сейчас он назовет имя дочери, и тогда будет все ясно. Но старик указал на улей, возле которого кружили пчелы.

— Они мне сказали... — Затем добавил:

— И капля его меда есть уже на этой земле. Он сюда вернется...

Приехав домой, Лия не решилась зайти к парторгу — к чему? Но через несколько дней Верхов сам зашел к ней на стройку.

— Ну как? — спросил он. — Были на пасеке?

Она рассказала о том, что ей говорил пасечник.

Выслушав ее, Верхов широко улыбнулся.

— Чудной старик, — сказал он. — Я полагал, что у него есть более точные сведения... Но ничего, — успокоил он ее, — это не плохо, что вы там побывали...

И он обещал Лие сделать все возможное, чтобы помочь ее горю.

Проходили годы, надежда увидеть сына все слабела. Никаких известий о том, что он жив, не было...

Умер старый пчеловод Мейлах Фукс. Лия была на похоронах. Неподалеку от пасеки и дома, который он своими руками построил в глухой тайге, улегся навечно бывший кременчугский грузчик. Там же, на похоронах, Лия увидела его дочь. Она и в самом деле была удивительно хороша. Но поговорить с ней Лия не решилась.

Вскоре после этого девушка уехала куда-то в другой город учиться. И Лия больше никогда о ней не слышала.

Не раз за это время она и сама собиралась уехать. Ничего и никого она уже, видно, здесь не дожидается. Но каждый раз в решающую минуту ее удерживала мысль: куда, собственно, она поедет? К кому? Зачем? Где ей будет лучше, чем здесь? Она ловила себя на том, что ей жаль покинуть этих людей, этот новый, на глазах растущий город.

Это был уже довольно большой город, с мощеными оживленными улицами, с высокими зданиями в центре, с фабриками и заводами на окраинах, с электрическим освещением... Город стал центром области.

Когда работать в столовой на стройке ей стало трудно, Лия, которая в свое время неплохо шила, поступила на только что выстроенную швейную фабрику. Спустя несколько лет, почувствовав, что она не может ежедневно ходить на фабрику, Лия стала брать работу на дом в одной из артелей и целыми днями просиживала в своей небольшой, но светлой комнате за старинной «зингеровской» машинкой. Она давно уже не жила у Василия Петровича — получила отдельную комнату в новом доме, постро-

енном недалеко от дома старого плотника, которого и теперь часто навещала.

В Биробиджан прибывали все новые и новые люди, и каждый из них вкладывал свою долю труда в общее дело.

Так шли годы.

И вот началась война. И тогда, хотя Лия была уже не так одинока в своем горе, боль, тоска по давно потерянному сыну разгорелась с новой силой... Теперь она завидовала матерям, получавшим издалека конверты, сложенные треугольником. Будь Семен жив — и он прислал бы ей... Думая о своей соседке Мандель, Лия, как и прежде, считала, что счастливее ее, Лии, даже те матери, которые получали извещения о гибели своих сыновей: «Те, по крайней мере, знают, что с их детьми, за что они отдали жизнь».

12

Война была далеко отсюда, но ее яростный грохот, зловещие отсветы ее огня долетали и в эти отдаленные от фронта края. Каждый — и старый и малый — считал своим долгом работать не так, как всегда. Родина была в опасности...

Не жалела своих сил и Лия Черновецкая. Кроме шитья, которое она брала из артели на дом, до поздней ночи, а иной раз и до утра вязала она теплые чулки и варежки, вышивала платки, подрубала воротнички, шила затейливые кисеты.

И в артели, и дома, и даже в соседних домах знали, что никто лучше старой Черновецкой не умеет подобрать, упаковать и обшить посылку бойцу на фронт. Ей самой нравилась эта работа.

— Уж вы не беспокойтесь! — говорила она своим сотрудникам по артели или соседям. — Все будет сделано.

Такую посылочку соорудим, что ее хоть через крышу швыряй — ничего ей не будет, дойдет в полном порядке! Я сама все сделаю. Вы, никак, работаете, а я дома сижу...

Несколько раз она и от себя посылала скромные подарки на фронт: мало ли там молодых воинов, у которых нет матерей.

Однажды соседки уговорили ее вложить в посылку письмецо. Лия согласилась не сразу.

— К чему это? — говорила она. — Каждому ясно, что подарок от доброго сердца. А кто послал — не все ли равно?

И все же как-то она решила написать несколько слов. Она, писала Лия, не знает, кто получит ее подарок. Но кто бы он ни был, да будет ему известно, что шлет ему вещи от всего сердца старая женщина с Дальнего Востока, у которой никого нет. (Был у нее когда-то единственный сын, да куда-то пропал). Но она посылает свой подарок с тем же чувством, с каким она посылала бы его родному сыну. Она благословляет его, как родная мать, и желает счастья. И подписалась: «Лия Черновецкая».

Ответа она не ждала.

— Во-первых, — говорила она, — когда бойцу отвечать, до того ли ему. Пока соберется отвечать, мало ли что с ним произойдет: там поминутно жизнью рискуют... Ведь война!

Это было в начале зимы. А однажды летом кто-то постучал в двери. Лия тяжело поднялась и пошла открывать. На пороге стоял паренек с озорными зеленоватыми глазами. Он держал брезентовую сумку, набитую газетами и письмами.

— Это не ко мне! — сказала Лия и притворила дверь.

До войны она аккуратно, дважды в год, получала весточки от сестры из Шполы. С тех пор, как началась

война, вот уже скоро три года, она ни от кого не получала писем.

Однако парень постучал вторично.

— Нет, к вам!—сказал он.—Лия Черновецкая—вы?

— Я...

Дрожащими руками она схватила очки, потом выхватила из рук паренька письмо. Почтальон уже ушел, а Лия, не в силах успокоиться, все стояла у стола и разглядывала маленький треугольный конверт. Вдруг она тяжело опустилась на стул и заплакала. Почему это — первый конверт за все годы?... За что она так наказана? Она могла бы получить его и от сына...

Немного успокоившись, Лия поняла, что это, очевидно, ответ на посылку с письмом, которую она отправила зимой.

Но она не торопилась открывать письмо. Она смотрела на треугольный листок и думала: вот она распечатает, развернет письмо и прочтет «Дорогая мама...» Разве не могло так случиться, что Семен все эти годы скитался где-то в далеких краях, а когда началась война, пошел, как и все, на фронт... В артиллерию или в кавалерию... И вот однажды в его часть прибыла среди тысяч других посылок от Лии Черновецкой, ее, конечно, дали ему. Что тут невозможного? И, конечно, он ответил... И все! И наступил конец ее мучениям.

Так она долго сидела, не в силах оборвать сказку, которую, как малое дитя, сама себе придумала...

Наконец она не выдержала, открыла письмо. И вдруг сердце оборвалось и куда-то покатилося... «Дорогая мама!»

Лия приглушенно вскрикнула.

13

Лия очнулась и затуманенным взором обвела комнату. Она не знала, сколько времени длился обморок. У ног

лежало шитье, которое она, падая со стула, потянула за собой, а в складках материи — письмо.

Взяв себя в руки, Лия прочла листок от начала до конца, и ей стало стыдно, что она так поддалась мечте о невозможном.

Писал боец. Подарок и письмо, которые ему достались, говорилось в письме, дали ему право назвать ее, незнакомую женщину с Дальнего Востока, матерью... Пусть же она и дальше разрешит ему так называть ее. У нее, писал он, был сын, которого она потеряла. А у него были отец и мать, две сестры, брат, племянники и племянницы. Жили они в селе на Смоленщине. Сейчас у него никого нет. Узнал он, что немцы расстреляли всю его семью за связь с партизанами, и сейчас он остался на свете совсем один. Ее письмо было первым, которое он получил за все время войны, а на фронте он с июня 1941 года... Он благодарит ее за это сердечное письмо и за подарок. Он хочет и в дальнейшем переписываться с ней. Если она захочет, пусть напишет ему.

Звали бойца Николаем Певцовым.

Неожиданное, точно с неба упавшее, письмо потрясло Лию, всколыхнуло застаревшую боль и в то же время согрело. В ее жизнь вошло что-то новое, большое.

Да, ответила она ему на следующий день, она считает его своим сыном, как и всех, кто сражается на фронте. А теперь он ей особенно дорог. Ей, конечно, доставило большую радость его теплое письмо. Пусть он пишет ей, и если ему что-нибудь нужно, она постарается ему помочь.

Жизнь Лии теперь стала полнее. Она больше не чувствовала себя одинокой, как раньше. Сейчас она, как и другие, ожидала писем, писала сама и рассказывала знакомым, что ей пишут и что она собирается ответить.

Певцов аккуратно отвечал на все ее письма.

Войну он начал рядовым, писал он, а сейчас получил

звание лейтенанта. Он разведчик, и ему часто приходится бывать в тылу у врага.

Лия уже привыкла к тому, что веснушчатый почтальон часто стучится к ней в дверь. Теперь она нетерпеливо ждала писем и беспокоилась, когда их подолгу не было.

— Видно, опять «в гостях» у немцев! — говорила она Поле Берман или Василию Петровичу, показывая им письма. — Хоть бы обошлось все благополучно! — добавляла она, вздыхая.

В одном из писем Певцов прислал свою маленькую фотокарточку, вырезанную из фронтовой газеты. На груди у него красовались медали и два ордена. У него были большие темные глаза под высоко взлетевшими бровями. Лии уже казалось, что он чем-то напоминает ее сына... И чем больше она приглядывалась к этому лицу, тем больше верилось ей, что это так...

Наглядевшись вдосталь на фотографию, Лия побежала показывать ее Поле и Даниилу.

— Не правда ли, Поля, он очень напоминает моего Сему? Ведь вы его когда-то видели в Кировограде...

Поля посмотрела, пожала плечами:

— Скажу вам... во-первых, я уже не помню, как он выглядел, ваш сын... Ведь он был еще мальчиком... Да и видела я его всего раз—другой. А потом, почему вам кажется, что он похож? Мне помнится, у вашего сына совсем другое лицо... Как ты находишь, Даниил?

— Нет, возможно, он и в самом деле немного похож... — примирительно сказал тот, желая сделать приятное Черновецкой.

— Да что вы говорите «возможно»... — горячо возразила Лия. — Вы просто уже его забыли. Вы посмотрите — глаза! И волосы. Уж если я говорю, стало быть, знаю!

По ночам Лие снились путанные сны. В них самым при-

чудливым образом переплетались лейтенант Певцов и ее сын...

Утром она приходила к Поле, рассказывала, что ей снилось, и та толковала эти сны к добру...

14

Постепенно Певцов занял прочное место в сердце и в мыслях Черновецкой. Нередко она ловила себя на том, что неотступно о нем думает: как там у него на фронте, не ранен ли, не случилось ли чего-нибудь?.. Когда он долго молчал, она беспокоилась, думала об этом и днем, и по ночам. Этот чужой парень сделался ей так близок, что даже наяву его образ начал сливаться с образом ее сына.

Между тем письма приходиться перестали. Прошел месяц, второй, а писем не было. «Не иначе, — думала Лия, — случилось несчастье».

Наконец письмо пришло. Оно было из госпиталя. Певцов писал, что его тяжело ранило, когда он ходил в разведку, что он чуть не попал в плен, но его спасли товарищи. Теперь он уже почти здоров. Недели через две—три его выпишут из госпиталя и дадут непродолжительный отпуск. Провести его он может где угодно. Но ехать ему, как ей известно, некуда.

Лия всюду носилась с этим письмом, читала и перечитывала его, ходила с ним к Поле и к Василию Петровичу. Давно уже не была она так счастлива.

В госпиталь она отправила телеграмму, просила Певцова приехать к ней.

— Куда же еще ему ехать? — говорила она соседям. — Ведь у него никого больше нет!

Прошло немного времени, и прибыл ответ: он едет к ней...

В тот же день Лия привела Полю к себе в комнату.

Они долго совещались, требует ли комната ремонта. Поля считала, что и потолок и стены еще вполне чистые. Но Лия решила побелить заново и комнату и коридор.

— Да, да! И коридор тоже! — решила она. Надо, чтобы все сверкало!..

15

С тех пор, как Лия Черновецкая поселилась в Биробиджане, ей ни разу не приходило в голову достать из сундука свои праздничные платья, сшитые еще в Кировограде, при жизни мужа. Сейчас, готовясь встретить гостя, она выглядела очень торжественно в старомодном шелковом платье, пахнущем нафталином, в черной шали, из-под которой выбивались серебряные пряди волос. Даже лицо ее как будто преобразилось, ожили глаза, и морщин, казалось, стало меньше.

Лия в последний раз окинула беспокойным взглядом стены, аккуратно задернула подшитые кружевом занавески на окнах, провела рукой по свежевывглаженной, накрахмаленной скатерти на столе и, вполне удовлетворенная, вышла из комнаты.

Прежде чем отправиться на вокзал, она, еле сдерживая волнение, поднялась к Поле, которая по случаю воскресенья не работала и хотела идти вместе с ней.

Уже третий день Лия ходила на вокзал встречать гостя, но, как разъяснили ей соседи, было еще рано.

Волнение ее с минуты на минуту нарастало. Сегодня, по всем расчетам, он должен приехать. У Лии было предчувствие, что на вокзал она идет в этот раз не напрасно.

— Ты поможешь мне его узнать, — сказала она Поле. — Ведь я тоже совсем его не знаю...

День был по-весеннему ясный, солнечный. Рельсы отливала плавным серебром. По ту сторону линии выси-

лись крыши станционных зданий и домов разросшегося железнодорожного поселка.

С каждой минутой сердце у Лии стучало сильнее. Время тянулось медленно. Чтобы хоть немного успокоиться, она стала говорить о посторонних делах.

— Поля, — сказала она, — куда девался тот сарайчик, который, помнишь, был здесь, когда мы приехали?

Лия обвела близорукими глазами высокие станционные здания.

— Где-то там, должно быть, — ответила Поля, — может быть, снесли его совсем. Помните, какая тут была грязь? А земля, как опара, под ногами качалась... А комары... А глушь какая!.. Помните, Лия?

— Ну, конечно, помню!.. Если бы мне тогда сказали, что на этом самом месте построят такой вокзал и тут будет столько народа, — разве я поверила бы? Сколько лет прошло с тех пор?

— Да... скоро четырнадцать...

— Неужели четырнадцать? — удивилась Лия. — Хотя, правда... Действительно, четырнадцать! — подтвердила она и вздохнула. — Значит, скоро шестнадцать, как нет Семы? Боже мой...

— Поезд! — воскликнула Поля.

Мужчины, женщины, дети стояли на площадках и подножках вагонов, неожиданно вынырнувшего откуда-то поезда, выглядывали из окон. Люди на перроне устремились к вагонам.

Лия и Поля, увлекаемые толпой, тоже бросились вперед, но тут же растерянно остановились: какой вагон им нужен?

— Погоди-ка, не он ли?

— Который? — испугалась Лия, устремляясь туда, куда указывала Поля. Согнувшись, из вагона выходил военный.

— Боже мой! Он, кажется, идет прямо к нам...
Военный широко шагал, с любопытством разглядывая встречных.

У Лии на мертвенно бледном лице горели только глаза, устремленные на военного, шедшего им навстречу.

Она даже не смогла ответить, когда военный подошел к ней и о чем-то спросил. Она не слышала, что он говорит. Сердце вдруг выросло и подкатилось к горлу.

— Что? Что он спросил? — затормошила она Полю, когда военный отошел. — Что ему нужно?

— Да, ничего! — с досадой ответила Поля.

— Все-таки, что он сказал?

— Спросил, далеко ли отсюда Бирофельд...

Обе женщины чуть ли не бегом побежали вдоль вагонов.

— Может быть, этот? — указала Поля на стройного лейтенанта. Он, должно быть, с фронта.

— Почему ты думаешь? — спросила Лия.

— Видите, сколько у него медалей.

— Подождем! — Лия остановилась, пристально глядя на подходившего лейтенанта.

Но к нему вдруг подбежала девушка, взяла его под руку и, счастливо улыбаясь, прошла с ним мимо растерявшихся Лии и Поли.

Лия молчала. Она почувствовала, что последние силы покидают ее.

— Знаешь что? — проговорила она едва слышно. — Давай встанем в сторонку. Нам будет виден весь поезд. Если он приехал, то, наверное, будет спрашивать...

Они встали поближе к выходу в город.

Шум на перроне понемногу стихал. Пассажиры вернулись в вагоны.

Лия и Поля все еще стояли на месте. Лия и не заметила, как ее шаль сползла на плечи, открыв растрепавшиеся седые волосы.

«И сегодня не приехал. Что же это значит?» — спрашивала она себя.

Из-за багажной камеры вышла пожилая женщина и длинной метлой стала подметать окурки и бумажки на перроне.

— Нет, Поля! — сказала Лия. — Теперь все конечно. — И, не услышав ответа, добавила: — Нет у меня сыновей.

16

Он был в новом коричневом кожаном пальто, туго перетянутом ремнем, в невысоких, ярко начищенных сапогах. Он стоял, сдвинув фуражку на затылок, широко расставив ноги, словно под ним была не городская площадь, а палуба корабля. Он стоял, не двигаясь, внимательно к чему-то присматриваясь.

Поля сразу заметила его. Лия же разговаривала с Ривой Мандель и никого не замечала.

— Не встретили? — спросила Рива, удивленно глядя на нее водянистыми глазами.

— Как видите, — ответила Лия.

Она была рада, что теперь ей повстречалась именно Рива Мандель, которая потеряла сына и могла лучше других ее понять. Потому, когда Поля сказала, что отлучится на минутку, Лия только кивнула головой и, даже не оглядываясь, сразу стала выкладывать Риве все, что у нее наболело...

Военный в кожаном пальто все еще стоял спиной к вокзалу. Поля подошла так близко, что слышала разговор, который тот затеял с пробежавшим мимо мальчиком.

— Скажи-ка, — обратился он к мальчику, — давно ты живешь тут?

— Где? — с разбега остановился малыш, не понимая, о чем его спрашивают. — В Биробиджане? — удивленно переспросил он. — С самого рождения...

— Вот оно что! — весело рассмеялся военный. А сколько же с того времени лет прошло?

— А вы угадайте!

— Лет девять.

— Вот и не угадали!

— Десять?

— Нет!

— Одиннадцать?

— Да! — с большой гордостью сказал мальчик и пустился уже бежать дальше.

— погоди-ка! — крикнул военный. — Скажи-ка, а что вон в том двухэтажном здании?

— Налево, что ли? Это горсовет! А напротив — аптека...

— А что за высокие дома направо?

— Это облизполком! А то — школа! А что, вы здесь в первый раз? — Мальчик, чтобы как следует разглядеть незнакомца, задрал кверху голову.

— Да, впервые, — ответил военный. Он хотел еще о чем-то спросить мальчика, но тот уже убежал.

Военный вдруг рассмеялся и крикнул ему вслед:

— Куда бежишь! Лови!

Он достал из кармана что-то завернутое в серебристую фольгу и швырнул вслед мальчику, надеясь на его ловкость. Мальчик быстро обернулся, на ходу схватил неожиданный подарок и тут же исчез.

Поля набралась смелости и шагнула к военному. В это время тот поднял чемодан и обернулся. Поля оказалась с ним лицом к лицу.

Она увидела высокий, угловатый лоб и смолисто-черные волосы, схваченные у висков серебром. Из-под густых, таких же черных и круто изломанных бровей смотрели большие карие глаза. Полю даже смутил их прямой и острый взгляд. Она успела разглядеть резкие, точно из кам-

ня высеченные, черты, орлиный нос с тонкими ноздрями, широкий упрямый рот и шрам на подбородке с правой стороны, придававший лицу какую-то особую выразительность.

Увидев перед собой маленькую полную женщину, он сначала уступил ей дорогу, но вдруг остановился и спросил:

— Что вы? Как будто хотите спросить меня о чем-то? Поля расхрабрилась и спросила с улыбкой:

— Почему вы так думаете?

— Сам не знаю, — широко улыбаясь, сказал военный, — может быть, потому, что и я вас хочу спросить кое о чем...

— Спрашивайте...

— Я разыскиваю здесь старожилов, — сказал он, — внимательно рассматривая Полю. — А вы давно здесь?

— Ну, как сказать... — ответила Поля. — Сам-то город не так уж давно. Еще и шестнадцати лет нет, как тут начали селиться...

— А сколько времени из этих шестнадцати лет вы живете здесь?

— Я? Мы с соседкой как раз сегодня подсчитали... Осенью четырнадцать лет будет, как мы приехали сюда...

— Четырнадцать? — переспросил военный и вдруг положил руку на плечо Поле. — Стало быть, вас-то мне и надо!

Поля покосилась на большую руку, лежавшую у нее на плече, и военный, слегка смутившись, снял ее.

— Извините! — сказал он и, снова весело улыбаясь, добавил: — Вас-то мне и надо!

— Нет уж, вы меня извините, — ответила Поля. — В таком случае вам надо не меня, а другую. Но это не важно, она моя соседка...

Поля уже не сомневалась относительно того, кто этот военный.

Но тот очень удивился.

— А кто она такая, ваша соседка.

— Кто? — Поля помолчала и сказала: — Черновецкая! Вот кто! Лия Черновецкая...

Поля взглянула на него, чтобы посмотреть, какое это произведет впечатление. Военный действительно был ошеломлен, но в гораздо большей степени, чем Поля предполагала. Он смертельно побледнел.

— Как, как вы сказали?

— Черновецкая, сказала я. А что такое? Разве вы не к ней приехали? Разве вы не...

— Лия Черновецкая? — медленно произнес он и, закусив губу, умолк.

— Ну да! — чуть не крикнула Поля. — Вон она. — И она показала на Лию, которая все еще разговаривала с Ривой Мандель.

— Лия! Лия! Поскорее!

Услыхав голос Поли, Лия неторопливо оглянулась и медленно пошла к ним.

Не спуская с нее испуганных глаз, военный схватил Полю за руку.

— Кто это?

Поля весело взглянула на него.

— Сама она... Черновецкая... Вот уже третий день ходит вас встречать...

Лия спешила к ним, путаясь в длинном платье. Вдруг она остановилась, громко вскрикнула.

Военный бросился к ней навстречу:

— Мама!

— Поля! — тихо позвала Лия. — Где он?

Она лежала на кровати без кровинки в лице.

— Здесь, здесь, Лия... Вы только не волнуйтесь, Лия.

— Почему я его не вижу?

— Да вот же он, возле вас!

— Это ты? — Лия слабо улыбнулась. — А почему ты стоишь? Почему не сядешь?

Он вплотную придвинул стул к кровати, на которой лежала мать. Она видела его широкую грудь, на которой сверкали ордена.

— За что это столько? — тихо спросила она.

Заметив широкие погоны с серебристой звездочкой, она спросила:

— И кто ты теперь?

— Майор, мама...

На глаза ее навернулись слезы. Дрожащей рукой она провела по его выющимся волосам.

— Нет, Поля, нет, не может быть! Разве это он? Ведь ты помнишь его маленьким? Мы его не ждали...

— Как же это? Как же ты вернулся, когда я и ждать тебя перестала...

Голова Лии тяжело упала на подушку.

17

Семен Черновецкий бродил по весенним улицам города.

Все, что он видел, не переставало удивлять и радовать его: и гладкий асфальт под ногами, и двух- и трехэтажные дома в центре, и густая сеть проводов над головой, и трубы заводов на окраине.

«Так вот, — думал он, — что соорудили здесь за пятидесятнадцать лет...»

Тогда этого ничего и в помине еще не было... Тайга, глушь, мошकारа... Захолустный разъезд, которому под стать было название «Тихонькая». Болота, трясина, сопки и горы: вб'ачи — зеленые летом, желтые и оранжевые

осенью, белые зимой, а издали — всегда туманные, дымчато-голубые.

Издали все это было изумительно красиво, особенно летом, вблизи — дико, недоступно, опасно...

Он вспомнил, как в первые дни манила его ближняя сопка, та, что сейчас высится по ту сторону моста за городом. Казалось, вот она, рукой подать. Но он шел до нее целый день. И не то, чтобы она была далеко, но оказалось невозможно добраться до нее. Вот по дороге широкая поляна, заросшая высокой, бархатисто-зеленой травой. На такой поляне, где-нибудь на Украине, за околицей, хорошо было прилечь под деревом, лежать и смотреть в ясное, глубокое небо, следить за травинкой, по которой ползет божья коровка, красная, с черными пятнышками, чуть приподымая крылышки, а травинка гнется под ее тяжестью...

Так захотелось прилечь на эту поляну по пути к сопке! Но не успел он опуститься на траву, как туча мошकारы облепила его со всех сторон. Отмахиваясь и чертыхаясь, он помчался прочь.

«Вот тебе и божьи коровки!» — посмеялся он тогда над собой и решил больше не доверять здешним полянам.

Дальше по пути ему встретилась еще одна такая поляна, но он уже не соблазнился и решил быстро пройти по ней, чтобы немного сократить путь. Но, сделав несколько шагов, почувствовал под ногами влагу. Не обращая внимания, пошел дальше и вдруг провалился по колено в воду, предательски прикрытую высокой травой... Еле выбрался, вымокший, грязный.

«Да, — сказал он тогда себе, — весело здесь будет. Работы, во всяком случае, хватит!»

Но он был не из пугливых. Наоборот, мысль о предстоящей большой работе вселяла бодрость. Он подошел к реке, снял одежду и бросился в воду.

Хотелось покачаться на прохладных волнах. Однако течение сразу стремительно подхватило его и понесло так, что он не мог сопротивляться. Вода была такая холодная, как будто на дворе стояло не лето, а глубокая осень.

Так он впервые познакомился с рекой Бирой.

— Интересное знакомство! — проговорил он, вылезая из воды и дрожа от холода. — Учись, брат, хозяйничать в новых местах! Даром ничего не дается!

Только к вечеру добрался он тогда до сопки. Из последних сил взобрался на вершину, встал среди остроугольных камней.

Солнце заходило. Огромный, докрасна раскаленный диск медленно погружался в зеленое море лесов и лугов. От этих немеряных просторов веяло могущественной силой, чем-то первозданным, от чего захватывало дух. Кое-где островками виднелись крошечные селения, отдельные домишки да круглые китайские фанзы.

«Интересно сейчас посмотреть вниз с этой сопки! Обязательно надо побывать там», — подумал он, глядя на широкое мощное шоссе, на длинный мост, по которому беспрерывно носились грузовики и легкие «эмки». Вокруг сопки и даже на самом склоне ее вырос город. «Да, сегодня же надо побывать там!» — решил он.

18

Лия никак не могла успокоиться. Когда Семен уходил из дому, время до его возвращения тянулось томительно долго. Она вспоминала, что совсем, по существу, еще не говорила с ним за эти несколько дней, что он здесь. Вот придет домой, она обо всем его подробно расспросит. Но только он показывался на пороге, она снова забывала обо всем. Ей хотелось только смотреть на него.

На второй день она спросила, накрывая на стол:

— Ты, конечно, не женат?

Он стоял, наклонившись над тазом, и старательно мылил руки. Удивленно взглянул на мать и улыбнулся:

— Неужели, мама, я похож на старого холостяка?

— Я знаю, ведь ты все время в разъездах!

— Это ничего не значит! — выпрямился он, взявшись за полотенце.

— Значит, у тебя есть жена? Давно?

— Вот уже пять лет.

Лия, точно забыв, что ей нужно делать, ходила по комнате, изредка останавливаясь. Потом обернулась к сыну. Тот стоял у зеркала, расчесывая свои густые черные волосы.

Видно, она хотела еще что-то спросить, но молчала. Это его задело.

— Неужели, мама, тебя не интересует, на ком я женат?

— На свадьбу ты меня ведь не приглашал...

Однако, увидев, что он нахмурился, она спросила обычным тоном:

— А дети? Есть у меня хотя бы внук?

— Был. Мальчик. Умер перед войной.

— А сейчас?

Он долго молчал.

— Сейчас? — Он неловко обнял мать. — Вот кончится война, поселимся здесь, и какие у тебя еще чудесные внуки будут!

К обеду Лия пригласила Полю и Даниила.

Оба, одетые по-праздничному, вошли, старательно вытерли и без того чистые ботинки.

— Ну, Лия, поздравляю вас, — сказал Даниил.

Он подошел к Семену, внимательно осмотрел ордена на груди, словно пересчитал их про себя, и протянул крупную жесткую ладонь.

Поля на правах старой знакомой сразу же заговорила:

— Ведь вы обещали побывать у нас на фабрике. Почему же не приходите? Мы уже готовились, ждали вас в обеденный перерыв. А вы, я слышала, на завод пошли...

Семен оправдывался — задержали на заводе, но завтра обязательно придет.

— Смотрите же! — сказала Поля и погрозила ему пальцем. — А то меня с фабрики прогонят. Уж я там наговорила про вас с десять коробов. А они: «Что нам от твоих рассказов? Сами хотим его повидать...»

— Придет, придет, — весело сказала Лия, — уж он везде побывает. А сейчас пожалуйста к столу! Порадуйтесь и вы вместе со мной. Сколько я вам голову морочила своими горестями...

— Кто горести делил, тот и радости разделит! — сказал Даниил и достал из бокового кармана бутылку терпкого кисловатого вина, которое сам приготовил из местного дикого винограда.

Лия поставила на стол бутылку водки — специально для этого случая раздобыла.

Мужчины пили водку, женщины пригубили вина. Даниил скоро опьянел и полез к Семену целоваться.

— По разу за каждый орден! — говорил он.

И только после того, как исполнил свое желание, согласился идти домой. Надо дать гостю отдохнуть.

— Встречаться нам на радостях! — твердил он, уходя. — Слышите, Лия, на больших радостях...

— Уж если я до этой радости дожила, — сквозь слезы отвечала Лия, — значит, есть радости на земле.

Гости ушли.

Семен набил трубку и встал у полураскрытого окна покурить. Казалось, о многом уже было переговорено, но о самом главном, о том, что особенно волновало обоих, молчали.

Присев с краю стола перемыть посуду, Лия осторожно начала:

— Если ты не обидишься, я спрошу тебя кое о чем...

— Спрашивай, мама, — ответил Семен, выпуская дым и пристально глядя на нее.

— Все-таки, — начала она, — я никак не пойму, почему ты за столько лет ни разу не написал...

— Мама! — горячо воскликнул Семен и решительно шагнул к ней.

— Знаю, знаю, — перебила она, — ты скажешь, был невесть где, ты мне уже рассказывал... Сначала на границе был ранен, остался в армии, на Сахалине служил и еще где-то. В летной школе учился, потом на Хасане, в Монголии. А там большая война началась... Знаю...

Она задержала на нем взгляд.

— А такие, как ты, конечно, на одном месте долго не живут: где день, где ночь... Но... мать! Как можно забыть родную мать?

Он опять круто повернулся, но она, как когда-то давно, повелительно махнула рукой, и он остановился.

— Допустим, — продолжала она, — у тебя была суровая мать... Было время, когда она и слышать не хотела о сыне... Было... Хотя, может быть, он заслужил это... Не так ли? Но...

— Мама! — умоляюще проговорил Семен.

— Нет, нет! Позволь. За все эти годы заслужила я право излить душу?

— Говори, — покорно согласился он, тихо шагая по комнате.

— Ты хорошо знал, что ты — моя единственная радость...

Лия помолчала, мысленно снова переживая те дни, когда сын ее покинул, потом продолжала:

— Ведь ты же ребенком был... Восемнадцать еще не исполнилось. Я тебе добра желала...

— Мама! — не выдержал он. — Куда же я должен был поехать? К кому?

— Приехал же ты сюда сейчас...

Семен молчал.

— А мать? — выждав немного, сказала Лия. — О матери ты не думал?

Семен устремил на нее полный невысказанной боли взгляд.

— О, если бы я знал все эти годы, что ты жива...

— Значит, ты был действительно уверен, что меня... нет в живых?

— Да, — ответил Семен. — С тех пор, как приезжал сюда этот... Лемех Лемперт...

— Пусть будет проклята память о нем! — произнесла Лия.

Сейчас? Да, сейчас он впервые за многие годы получил после госпиталя отпуск, который мог использовать по своему желанию. Он решил осуществить давнишнюю мечту, которая ему не давала покоя. — побывать в городе, который он когда-то начал строить.

Семен прошелся по комнате и остановился возле матери.

— Когда я впервые приехал сюда, здесь не было и признаков города. Съезжались первые переселенцы. Был у меня тогда здесь хороший знакомый. Старик. Грузчик из Кременчуга. Здесь он пасечником стал.

— Пасечником? — Лия поднялась с места. — Мейлах Фукс?

— Да, — удивился Семен. — Ты разве знала его?

— Да. Знала.

— Каким образом?

— Пришлось столкнуться... Всех о тебе расспрашива-

ла. И ни у кого толку добиться не могла. А Мейлах Фукс, он, знаешь, что мне сказал?

— Что?

— Он показал мне пасеку и сказал: куда бы мои пчелы не улетели...

Семен улыбнулся.

— Они вернутся сюда! Так?

— Так! Он и тебе это говорил?

— Да, мама.

— Он мне говорил, — продолжала Лия, — капля его меда лежит в этой земле. Он в этот край вернется.

Увлеченные разговором, они не сразу услышали, что стучат в дверь. Семен пошел открывать. На пороге стоял почтальон.

— От кого ты получаешь письма, мама? — удивленно спросил сын.

— Ах, да это, наверное, от Певцова, от Николая Певцова, — спохватилась Лия и нетерпеливо протянула руку за письмом.

— А кто это? — спросил Семен, разглядывая конверт.

— Это война, Семен, мне второго сына дала...

Семен медленно открывал сложенный треугольником листок, а Лия тем временем рассказывала ему о Николае Певцове, о том, как ждала его приезда...

— Он должен был приехать в тот самый день...

— Так это его ты ходила встречать?

— Да.

— Вот оно что! — воскликнул Семен, снова закури-
вая и вглядываясь в лицо матери, словно видел его впервые.

— Почему же он не приехал? Я так и не знаю, — сказала она. — Читай, что он пишет?

— «В тот день, когда меня должны были выписать из госпиталя, — читал Семен, — у меня открылась старая рана и меня задержали...»

— Надолго?

— Этого, пишет он, и сам еще не знает.

С интересом, по-новому смотрел Семен на свою мать и, едва скрывая удивление, сказал:

— Послушай, мама, он ведь пишет тебе, как родной матери... Он так и называет тебя...

— Так ведь у него больше никого нет!

Семен задумчиво прошелся по комнате.

— Если придет не позднее чем через неделю, — сказал он, остановившись, — мы с ним встретимся здесь у тебя...

— Ты уже собираешься уезжать? — испуганно воскликнула Лия.

— Теперь не время, мама, долго отдыхать. Нам предстоит еще много дел... Но вот, — Семен постучал пальцем по конверту, — его я хотел бы повидать. Может, мы с ним на одном фронте дрались. Быть может, я поддерживал его сверху, когда он шел в атаку... Ну, а сейчас мы с ним и вовсе — братья...

— Да! — сказала Лия. — Братья...

Большой, сильной рукой Семен крепко обнял худые плечи матери. Они стояли молча.

Заходило солнце. Вспыхнула зеленая вершина недалекой сопки. Семен распахнул окно, и в комнату ворвалась прохлада с реки, несшей вдаль засветившиеся стремительные волны...

1944—1947.





КРАСНОГВАРДЕЙЦЫ И ЛЕНЧИК

1

Листья, ярко-красные и оранжевые, отрываются от ветвей и беспомощно никнут к земле...

Это было во второй год революции. По железнодорожным путям шли красновагонные составы. Листья, сорванные воздушной волной, летали мимо красных с белыми крестами дверей, возле черных колес падали на рельсы, отстав от поезда.

Пелагея смотрела в полуоткрытую дверь вагона на мельканье листьев и поминутно оглядывалась на Лейбу. Он лежал в темном углу вагона, и она видела только белые бинты, закрывавшие его лицо. Время от времени он открывал незабинтованный глаз, смотревший из-под густой черной брови. Еще немного, и он остался бы навсегда там, верстах в сорока отсюда, где только что отгремел бой.

Рядом с Лейбой лежит Антон Шатюк. Он ранен в жи-

вот и глухо стонет, жует рыжий волос своей редкой бородки.

Стучат, дрожат, тянутся рельсы, как выползающие из-под земли пулеметные ленты.

Тихо. Желтые листья мелькают перед глазами, пока поезд не врывается в темный туннель ночи.

Вдруг где-то стреляют.

Кажется, что на тысячи кусков раскалывается небо и тысячи огненных ран растекаются по нему кровавыми потоками и застывают.

Стрельба затихает.

Раны на небе затягиваются и блекнут. Вот уже и город с черными, торчащими, как отмороженные пальцы, трубами. Когда поезд подходит ближе, эти трубы кажутся длинными, обезглавленными шеями, задушенными черными бусами ворон... На развороченном шоссе лежат гниющие трупы лошадей.

Таким был город. В этом городе спустя месяц Пелагея родила Ленчика.

2

У Ленчика — редкие черные волосы и голубые глаза. Плечи острые, он очень худой и длинный для своих двенадцати лет. Он уже не может кататься на задней площадке трамвая — его видно за стеклом двери. Поэтому он уступает это место своим товарищам, а сам устраивается на буфере. Он представляет себе, будто погоняет трамвай, как смирную лошадку. Так можно целый день кататься по улицам города.

А в городе — третий год пятилетки.

Мощно дышат трубы, простирая над городом серые мягкие клубы дыма. Падают и свертываются желтые и красноватые листья. Они падают на неостывший асфальт

новых тротуаров, прилипают к ним. Мальчишки набирают целые охапки осенних листьев и швыряют их в кипящий асфальт. Рабочие, стоящие возле широких пылающих котлов, кричат на мальчишек и прогоняют их. Те убегают, но тут же появляются с другой стороны... Ребятам нравится смотреть, как горят в котле листья. Нравится это и Ленчику.

Не нравится ему только, что лучшие его друзья, с которыми он путешествует на трамваях и вертится у котлов, дразнят его:

— Ленька-черепаха...

У отца на заводе прорыв.

На больших щитах, развешанных в городе, в школе и в классе, изображены самолет, корабль, паровоз, автомобиль. Там другие заводы, на которых прорывов нет или они уже ликвидированы. А отцовский завод в самом конце, на черепахе... У них уже второй месяц прорыв. Вот ребята и дразнят Ленчика. А ведь это не только папин, это и мамин завод — там они работают оба. Отец — слесарем, мать — токарем. Ленчику стыдно. Он приходит домой и пристаёт к родителям:

— Папа, почему твой завод стоит на самом конце, там, где нарисована черепаха? Меня мальчишки дразнят...

— Помнишь, мама, — обратился он к матери, — ты рассказывала, как вы брали город... Здесь тогда целая дивизия белых стояла. А вы были голодные, босые, шли по холодному и скользкому болоту, пулеметы на плечах таскали. И все-таки шли... А теперь... почему же?

И Ленчик смотрит на родителей. Те переглядываются.

Отец в последнее время ходит хмурый, недовольный, черные брови низко нависли над глазами, и борода давно не брита.

— Ничего, Ленчик. Все будет в порядке, — отец привлек к себе мальчика. — Знаешь, мы думаем поехать в

отпуск на месяц в Степановку, к бабушке. А потом перейдем на другой завод, на котором нет прорывов...

— Да, папка? К бабушке? В Степановку! — Ленчик даже подпрыгнул от радости. — А то мы в прошлом году жили там только одну неделю...

Он вспомнил сочную, сладкую морковку, которую целыми днями грыз у бабушки на огороде. Больше всего Ленчику нравится морковка. Кроме того, в Степановке есть такие ребята, которые даже паровоза еще не видели... И они слушали Ленчика, раскрыв рот, и даже как будто ему не верили.

— В Степановку, папка!

Лейба и Пелагея выиграли недавно по облигации пятьсот рублей. Время отпуска у них совпадает. Можно на месяц уехать в деревню к матери. Там всего много. Спокойно. Лейбе с его туберкулезом очень полезно отдохнуть и поправиться.

3

На следующий день после уроков было собрание звена. Комсомолец из горкома и учительница рассказывали о хозяйственных задачах города. И снова упоминали папин завод, и снова говорили о прорыве. Говорили и о Гришкином отце, который работает на том же заводе.

После собрания Ленчик только и думал об этом. «Его родители, красногвардейцы — прогульщики... Да, его родители — бывшие красногвардейцы». Он дошел до ворот своего дома и озабоченный прошел дальше — на завод.

Ленчик давно там не был и нашел завод не сразу. Он узнал его по гудку. У каждого завода свой особый гудок. На отцовском он вначале хрипит, потом переходит на фальцет и заканчивает настоящим басом.

Когда Ленчик пробрался в цех, там было полно рабо-

чих. Они сидели на станках и стояли в узких проходах, словно оттеснив к стенам станки, трансмиссии, тиски.

Над столиком горела большая лампа.

Ленчик протиснулся меж двух станков и начал рассматривать присутствующих.

У председателя — густые, насупленные брови, совсем как у отца, и черные мягкие усы, прикрывающие даже нижнюю губу.

«Как он ест? — подумал Ленчик. — Ему бы привязывать усы к очкам, достали бы...» Очки у председателя держались на самом кончике носа, и только тень от них лежала возле глаз.

Секретарем был Мишка Соловьев. Ленчик его хорошо знает. Он только в прошлом году окончил двадцать шестую школу и сразу пошел сюда на работу. Он здесь, оказывается, активист.

А вот и родители. Они стоят у фрезерного станка. Рядом с ними дядя Антон, Антон Шатюк. Они всегда втроем — дядя Антон, отец и мать. Они внимательно слушают доклад.

У отца как бы удивленно приподняты брови, дядя Антон то и дело морщится, большая, темноватая в суставах рука лежит на редкой рыжей бородке. У матери возле рта две складки. Ленчик глядит на родителей, и ему становится стыдно оттого, что он так плохо о них думал. Боясь, что его заметят, Ленчик повернулся к стене.

Тем временем Мишка перевернул лист бумаги на другую сторону, что-то написал там, провел черту сверху вниз и стал ждать, пока кончится доклад. Докладчик снова повторил, что с введением индивидуального финплана положение значительно улучшилось, однако мешает текучесть рабочей силы, которая все еще высока.

— Скоро кончит, — произнес старик, стоявший недалеко от Ленчика. Он все время качал головой, так что

нельзя было понять, когда он согласен, а когда нет. Голова качалась утвердительно, а глаза при этом говорили: «Нет, нет...» Странные глаза у старика!

Проголосовали резолюцию по докладу, и рабочие начали торопить, чтобы скорее кончали собрание — кушать пора!

— Погодите минутку! Тише! — успокаивал председатель. — Сейчас кончаем. Еще одно важное сообщение: завтра во время перерыва состоится доклад о социалистической контрактиции...

— Слышишь, Александрыч? — многозначительно обратился к старику бритый рабочий.

«Чего он так испугался, этот дяденька?» — подумал Ленчик и снова повернулся к председателю. Тот продолжал:

— Это вопрос чрезвычайно важный, и я хочу вас немного информировать, чтобы вы были готовы завтра принять соответствующее решение, как и подобает настоящим пролетариям. Товарищи, все мы хорошо знаем, какое значение в реконструктивный период приобретает...

— Хорошо еще, что не сегодня, а завтра, — заметил бритый рабочий. — Ведь это обдумать надо... Как-то так...

Старик, добродушно улыбаясь, заметил:

— Да, крепостное право еще дед мой, царство ему небесное, отменил...

Ленчик с удивлением посмотрел на старика, но тут же отвернулся, так как услышал голос отца.

— Прошу слова.

— Наверное, опять о кружке изобретателей, — проговорил старик, надевая шапку. — Носится с ним, как с писаной торбой. Только и делают, что изобретают, а мы все топчемся на одном месте...

Оттого, что этот старик так плохо отзывался об отце,

Ленчику очень захотелось сказать ему что-нибудь злое, оскорбительное. «Черепаха!» — вот что хотелось ему сказать. Но старик ушел, а отец получил слово.

Он вышел вперед, окинул строгим взглядом собравшихся и рассек рукою воздух:

— Товарищи!

Лицо у отца побледнело, и на щеке стал отчетливо виден старый, давно затянувшийся шрам.

— От имени троих рабочих — Лейбы Рейшиса, Пелагеи Некрытиной и Антона Шатюка — я заявляю собранию, что с нынешнего дня мы считаем себя мобилизованными как красногвардейцы пятилетки. Мы решили законтраговаться на заводе до конца пятилетки. Это большая ответственность, и мы приложим все наши силы, чтобы быть достойными звания красногвардейцев пятилетки. Надеемся, что все рабочие нас поддержат...

Раздались аплодисменты. Ленчик тоже хлопал до боли в ладошках и радостными, благодарными глазами смотрел на отца и мать. Но те его не замечали. Они рассматривали какие-то листочки, и председатель что-то говорил им.

Потом он вынул из портфеля еще пачку листочков и поднял их над головой. Пачка рассыпалась, и Ленчик увидел напечатанное крупным шрифтом слово: «Обязательство».

— Товарищи! Кто еще?

Несколько десятков рук потянулись к столу, пачку листов разобрали. А те, кто чего-то ждал и чего-то боялся, потихоньку ушли из цеха.

— Давай-ка сюда, Лукич, подпишем!

Люди расходились, пряча листочки в карманы.

— Красногвардейцы так красногвардейцы, черт возьми!..

— Хорошо!

Когда Лейба и Пелагея вышли из цеха, рядом с ними неожиданно очутился Ленчик. В глазах его светилась радость, щеки пылали.

— Ты как попал сюда?

Ленчик совал им свою горячую руку.

— Правильно вы сделали, так и надо... А в Степановку не надо. Я уже не хочу в Степановку...

Родители непонимающе переглянулись.

— Ты что? Был на собрании? А как ты попал?

— Я... Это... Но я думал... — лепетал Ленчик. Он никак не мог рассказать, как он здесь очутился.

Наконец, когда они уже вышли на улицу, Ленчик рассказал о собрании звена, о Гришке, которого тоже дразнили. Тот еще вчера решил пойти к отцу на завод — посмотреть, что он там делает... Но по дороге Гришка увидел возле магазина Центроспирта, как милиционер втаскивал на извозчицьи дрожки какого-то человека. Гришка подошел поближе и узнал отца...

Ленчик почувствовал, что говорит совсем не то, что следовало. Он не должен был это говорить... Он и не хотел... Ленчик запутался, покраснел и спрятал лицо в маминой руке...

Но когда Ленчик поднял голову и взглянул на родителей, у него сделалось так хорошо на душе, что он схватил отца и мать за руки и потащил их вперед, с гордостью поглядывая на прохожих. Ему хотелось подбежать к каждому и кричать о том, что теперь его не за что дразнить, что его родители всегда были красногвардейцами и сейчас они тоже красногвардейцы.

И Ленчик радостно смеется. И все — трамваи и автобусы, автомобили, мотоциклы, конские копыта, — все выстукивают по мостовой:

— Хо-ро-шо! Хо-ро-шо! Хо-ро-шо!

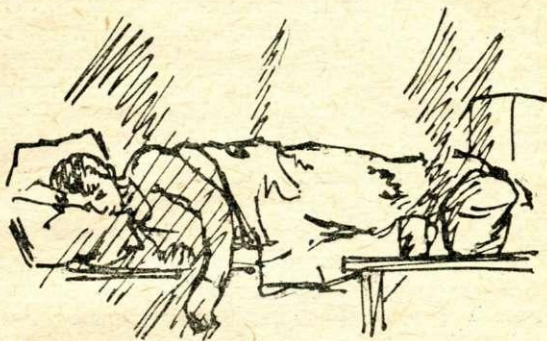
На неостывший асфальт падают желтые и красноватые листья. Ленчик ловит на лету один лимонно-желтый листок и швыряет его на тротуар. Но листок падает на лицо рабочего, который варит асфальт в горячем котле. Рабочий поворачивается и кричит сердито:

— А вот я тебе, пацан!..

Но Ленчик не боится. Он весело хохочет...

1931.





НОЧНАЯ СМЕНА

1

Полупустые трамваи торопились в депо. На углу одной из харьковских улиц Шлойма вышел из вагона и направился к фабрике, находившейся рядом в переулке. В черных стеклах погасших витрин отражалась длинная фигура в расстегнутом пальто, с вихрастым чубом, торчащим из-под козырька.

Фабричные ворота освещены фонарями. В цехах еще работает вторая смена. Шлойма остановился в штамповочном цехе возле тисков дяди Саши и попросил закурить.

— Сейчас, сейчас, — ответил дядя Саша, вытирая вспотевший лоб и круглый бритый подбородок голубым платком с белыми разводами. Он сдвинул очки в железной оправе на кончик носа и, поплевав на измазанные маслом ладони, принялся обтачивать штамп.

Это значит, что дядя Саша заканчивает свой рабочий день.

До конца смены остается пятнадцать минут, но цех работает так же напряженно, как и в самом начале рабочего дня. Вздрагивая, бегут вверх и вниз узкие приводные ремни, быстро и размеренно вращаются моторы прессов.

Широкие толстые листы жести с шумом ложатся под длинный нож, узкие полосы со скрежетом падают на пол. На большом столе посреди цеха, почти во всю длину, стоят высокие и тяжелые ручные прессы. У каждого преса — девушка в красном платке.

У одного из таких прессов стоит Таня. Она штампует медные пряжки — те самые, которые Шлойма потом никелирует в своем цехе.

Ее черные волосы аккуратно заправлены под платок. Коричневая майка облегает грудь, крепкая рука откидывает тяжелую штангу. Пресс стонет, стучит по медным пластинкам и выплевывает пряжку в ловко подставленную руку. Таня чувствует на себе взгляд Шлоймы, но не подымает глаз.

Однако Шлойма очень долго смотрит на Таню и наконец видит из-за толстой штанги, заслоняющей половину ее лица, что и Таня поглядывает на него.

Он вдруг вспомнил, как они познакомились. Это было давно, еще в местечке, в небольшой комнате райпарткома, у ее отца, секретаря райкома. Она стояла у окна, а над ее головой, на стене, дрожал продолговатый солнечный зайчик...

И вот в этот зайчик попал и загорелся Танин глаз. Он и сейчас похож на солнечный зайчик с темной бусинкой посредине. Но он строг, этот взгляд.

Шлойма подошел поближе.

— Чего смотришь? Не узнал?

— Хочу посмотреть, как ты работаешь... Ведь мы заключили договор, соревнуемся...

— Значит, надо работать как следует. Иди к себе в цех и не мешай. Кстати, вот уже и звонок... — произнесла Таня с улыбкой и в последний раз откинула штангу.

Таня пошла мыть руки, а Шлойма — к себе в цех.

— Ну, ты домой идешь, а мы только еще вступаем, — говорил Шлойма Тане. — Удовольствие — работать ночью!

Она повернулась к нему.

— А что ты думаешь? Я бы согласилась работать ночью. Знаешь, в руках что-то такое... Такое... Работалось бы здорово! Понимаешь? — и она обожгла Шлойму взглядом черных глаз.

— Понимаю, Таня, понимаю! — ответил он и схватил ее за измазанные до локтей руки.

— А ну, ну, хватит любезничать! Умываться надо! — легонько толкнул их дядя Саша, направляясь к крану.

Рабочие уже сняли халаты и умывались.

— И куда это вы так торопитесь, дядя Саша? — спросила Таня, освобождаясь из рук Шлоймы.

— Да вот, тороплюсь, — ответил дядя Саша. — Моей Авдотье хоть и под сорок, а тороплюсь... Думаешь, одна ты красивая? — И он брызнул ей в лицо холодной водой.

2

Все уже сидели на своих местах: полная, краснощекая Паша — у одной полировочной щетки, Рося в грубом кожаном переднике — у другой. Она замешивала наждачную пыль с олеонафтом; этой полужидкой коричневой массой надо обмазывать пряжки перед шлифовкой. Сел за свой станок и Яшка — ему уже за тридцать, но за веселый нрав его все зовут Яшкой.

— Можно пускать, если возможно... — сказал он и улыбнулся.

Где надо и где не надо Яшка вставляет «если возможно» и этим постоянно смешит ребят. Сейчас они тоже рассмеялись, а Рося, дернув его за небритый подбородок, сказала:

— Побрейся лучше, если возможно... Тогда тебя девушки любить будут.

— А я не против, чтоб они любили меня таким, какой я есть... если возможно.

Яшка хотел сказать еще что-то, но в эту минуту загудел мотор, вздрогнули трансмиссии.

Шлойма, засучив повыше рукава, подошел к своему месту, уселся, набрал побольше пряжек. В руках он чувствовал силу, которой ему хватит, чтоб работать без отдыха до утра. Он пододвинулся поближе к вертящейся щетке, уселся поудобнее на низеньком табурете и начал быстро шлифовать пряжки. Отшлифованные пряжки падали у него в ящик чаще, чем у Роси и Пашки. Но ему все казалось, что их мало, и он старался работать еще быстрее.

3

План за прошлый месяц был выполнен всего на семьдесят три процента. Так сказал на общем собрании директор. Уже прошла первая декада апреля, а семнадцать процентов за март все еще не доставало.

— Значит, надо их додать! — словно эхо, отозвалась Рося и встала с места. Она предложила работать без выходных, пока семнадцать процентов за март не будут покрыты.

В углах зашептались:

— Вот тебе и на...

— Лучше она ничего придумать не могла...

— Ну, это такая работага!

Поднялся Давид из токарного цеха. Глядя на стертые носки своих желтых ботинок, сказал:

— Во-первых, кто виноват в том, что недодали семнадцать процентов? Рабочие? Совсем нет! Целиком — администрация! В токарном цехе уже третью неделю стоит неисправный станок. В никелировочном цехе надо ремонтировать мотор, он поминутно перегревается, и приходится ждать полчаса, пока он остынет. И еще, и еще... Администрация ничего не делает, а рабочие должны отдуваться...

— Скажи-ка, Давид, а твои четыре прогула в прошлом месяце не имеют отношения к этим семнадцати процентам? — спросил Яшка, на сей раз даже без своего «если возможно».

— Какие четыре прогула? У меня за эти дни есть больничный лист. Не думай!

— Да, у тебя всегда больничные листы, когда выпить хочется. Знаем! — сказала Рося.

— Товарищ председатель, — обиделся Давид. — Слово предоставлено мне... Я еще не кончил.

— Ну, говори, говори, если возможно! — крикнул Яшка.

Давид хотел сказать еще о тарификации. Он считает, что она ни к черту не годится.

— У тарификатора, видать, кошачья память... Зарабатываешь рубль в день, из сил выбиваешься, — поддерживала его Павлова из никелировочного цеха, облизывая подкрашенные губы.

— А кто же виноват, если ты гонишь брак? — крикнула Рося. — Еще говоришь...

Рося метнула возмущенный взгляд в сторону Павловой, будто плюнула, и сказала сидевшей рядом Тане:

— Вот такие и виноваты...

Тогда поднялась Таня.

— Так вот, товарищи, где собака зарыта: прогулы, брак, не хотят работать. Вот откуда берутся эти семнадцать процентов. И администрация, конечно, тоже... не ремонтируют вовремя, не меняют старых спецовок и так далее. Но мы сейчас об этом не будем говорить. Я предлагаю проголосовать предложение товарища Роси относительно работы без выходных, пока не выполним план за март.

— Да, если возможно! — поддержал Яшка.

— Голосовать!

Стали голосовать. Яшка поднял обе руки и опустил их на плечи сидевших впереди Роси и Тани. Они обернулись, улыбаясь.

Давид, Павлова и другие, что шептались по углам, тоже голосовали «за».

4

Темная ночь проходила мимо. Иным, казалось, стал воздух, по-иному гудели моторы. Проснулись сирены, прогудели гудки. Раннее летнее утро заиграло на острие штыка у охранника, делавшего последний круг по фабричному двору.

Начали подходить рабочие первой смены.

Это был первый выходной день, который решили отработать. Но когда мастер распределил рабочих, оказалось, что одного человека не хватает.

— Кто же это не пришел? — никак не мог сообразить мастер.

— Кто? — Рося сдвинула густые брови. — Павлова! Павлова не пришла.

— Ах, черт ее побери! — выругался мастер, с досадой плюнув сквозь зубы. — Что же делать? Полировочная шайба будет простаивать... Снять со щеток никого не мо-

гу, там и так полно работы... А сегодня надо выдать десять тысяч штук, хоть лопни! Это к заказу. Директор вчера сказал определенно. Эти десять тысяч штук уже отникелированы, их надо полировать. Надо двух человек.

— Расстреляла бы таких! — крикнула Рося.

— А ведь на собрании руку поднимала «за»...

— Я остаюсь! — сказал Шлойма.

Все удивленно оглянулись на него.

Он уже стоял у крана, собираясь умыться, но теперь спустил рукава рубахи и снова стал натягивать свой рабочий халат.

— Ты?

— Да.

— Вот молодец, Шлемка! — воскликнул мастер, положив обе руки ему на плечи. — Понимаешь, эти десять тысяч штук надо обязательно отполировать. Понимаешь? Зато, если кончишь раньше, можешь уходить, а завтра выйдешь во вторую смену...

— Ладно, ладно, — перебил Шлойма. Не нравился ему тон мастера — как будто он ради мастера остается.

Он обернулся к ребятам.

— Ну, что смотрите? Зато эти семнадцать процентов будут у меня в ящике. Я вовсе не желаю уступать их Павловой, понимаете?

Третья смена ушла. Шлойма подошел к своему месту.

5

Таня надела белую в черную полоску майку, взяла желтый фанерный чемоданчик и вышла на улицу.

Было около двух часов. На работу еще рано, но ей хотелось просто погулять по улицам, уж очень было солнечно и тепло. Мальчишки-чистильщики барабанили щетками на углах, а газетчики уже бегали, выкрикивая:

— Вечерняя! Вечерняя!

По улицам вверх и вниз бежали переполненные трамваи и при встрече приветствовали друг друга веселым и звонким «Дзень добры! Дзень добры!» Таня вспоминает Варшаву. В 1925 году ее отцу пришлось эмигрировать оттуда, ему грозила виселица. Он уехал вместе с Таней. Они долго жили в Киеве, потом его назначили секретарем партийного комитета в районном центре. Городишко был очень красив, особенно весной. Там она познакомилась со Шлоймой. Она устроилась на работу туда же, где работал Шлойма, и больше уже не поехала с отцом, когда его перевели в окружной центр.

Сегодня пришло письмо от отца. Он собирается приехать. Скорее бы приезжал — она уже скучает без него... Да и вообще ей тоскливо одной... Хорошо, что скоро на работу, — сегодня она потрудится на славу!

Часы показали половину четвертого. Фабрика уже недалеко. Таня прибавила шаг.

На углу она остановилась, увидев Шлойму, приветственно помахала рукой.

— О! Как ты попал сюда?

— С работы иду.

— Да ну? Ведь ты же работал вчера в ночь...

— Вот со вчерашней ночи я и работал, до сих пор.

— А что такое? — серьезно спросила Таня.

— Понимаешь, Павлова не вышла на работу...

— Не вышла?

— Да, и шайба осталась в простое. А тут надо к заказу добить десять тысяч штук. Сегодня последний срок, да и эти еще — семнадцать процентов... Ну, как же уйдешь, Таня? Вот я и остался.

Она ничего не ответила, только крепко пожала его руку.

— Ну, иди, опоздаешь, — сказал он, — а я иду спать.

Ох, и посплю! Таня, когда будешь возвращаться с работы, зайди. Я к тому времени уже выплюсь и буду тебя ждать.

— Ведь будет уже поздно! — ответила Таня, глядя на него широко раскрытыми глазами. — А тебе завтра опять на работу...

— Не беспокойся, заходи.

— Ну-ну, — неопределенно ответила она, улыбнулась и ушла. Он следил за ней взглядом, пока она не скрылась за воротами фабрики.

Звенит на разные голоса летний день, и трамваи при встрече приветствуют друг друга весело: «Дзень добры!»

6

Когда Шлойма проснулся, в комнате было темно. Только узкая желтая полоска света тянулась от приоткрытой двери, ведущей в соседнюю комнату. Он подошел к свету и посмотрел на часы. Было уже десять часов вечера. Шлойма отдернул занавеску на окне и повернул выключатель. Лампочка, словно улыбнувшись, осветила комнату, стол, а на столе — серый мешочек с криво написанным адресом.

Шлойма с удивлением ощупал мешочек. Под пальцами что-то хрустело. Он нетерпеливо распорол мешочек и увидел... мацу, раскрошенную мацу.

Крепко же он спал, если не слышал, как принесли посылку! Шлойма распечатал конверт, лежащий тут же. Письмо от отца.

«Дорогой сын! У нас и на этот раз праздник не в праздник, потому что тебя нет с нами. Вот уже третью пасху ты проводишь не с нами. Да и вообще хорошего мало. Мацу негде было печь, и мы с дядей Бирешем и тетей Этей пекли вскладчину. Вместе с картошкой, пожалуй, хватит. Посылаем и тебе немножко, попробуй».

Шлойма отложил письмо, посмотрел на криво написанный адрес. Буквы двоились в глазах, разбегались куда-то, исчезали... Вместо них он видит отцовскую руку, красную, длиннопалую, с широкими суставами и ногтями.

Когда отцу что-нибудь непонятно, он собирает пальцы вместе в щепотку и спрашивает: «Почему?»

Отцу многое непонятно. Он невысокого роста, узкоплечий, с седой бородкой и карими глазами, окруженными сетью бесчисленных морщинок.

Отец как-то писал, что галантерейный ларек он бросил (фининспектор покоя не давал) и принялся за старое свое ремесло — переплетчика. Однако, писал он, похоже, что и с этим ничего не выйдет, придется, видно, после пасхи «вступить в коллектив...»

Как о чуде, подумал он об отце: «Конечно! Чего же еще ждать?»

Несколько слов на этот раз приписал и братишка Лейбка. Славный паренек! Он уже во второй группе и пишет такие хорошие письма!

Он пишет, что в первый день пасхи у них в школе будет антирелигиозный вечер и спектакль... Он участвует в нем, играет роль белого офицера, который потом переходит на сторону красных. Потом они покажут пирамиду, будут маршировать, потому что на дворе уже совсем тепло. Воробушки целыми днями чирикают. Лейбка уже вскопал палисадник под окнами, и мама там посадит георгины...

7

— Шлойма!

— Ох, Таня!

Он подошел и схватил ее за руки.

— Ты пришла... Уже первый час? А я тут задумался и даже гудков не слышал.

— Тише, не жми так руку, больно. Разорвался ремешок от часов, я связала, трет... Развяжи лучше.

Он распутал узелок, положил часы на стол и двумя пальцами обхватил красный след на ее руке.

— Какая тонкая у тебя рука и теплая...

Он взял ее за руку повыше локтя, другой погладил ее плечо и приблизил к ней свое лицо. Ярко чернели глаза, и губы, подрагивая, тянулись к ямочкам на нежных розовых щеках.

— Таня, я хочу тебя поцеловать...

Она сняла его руку со своего плеча и чуть оттолкнула.

— Шлойма!

И прибавила:

— Я вовсе не знала, что ты такой глупый парень...

— Пускай глупый, но мне хочется тебя поцеловать!

— Как бы не так... — она сжала губы и отступила на шаг, потому что Шлойма нагнулся к ней.

Он протянул руку. Таня резко повернулась, задев что-то на столе.

— Ой, что это? Я что-то рассыпала! Ах, это маца! — удивленно протянула Таня, разглядывая крошки на полу и на столе.

— Да, мне из дому прислали. Так неожиданно, я и не знал. Я так крепко спал, что даже не слышал, когда принесли этот мусор. Отец пишет, что вчера был первый день пасхи. Воображаю, как он сидит за столом и напекает устало: «Дайну-у...»

— Что это значит?

— «Дайну» — значит «довольно с нас».

Таня подняла голову и иронически посмотрела на Шлойму, словно желая увидеть в нем его отца. Потом рассмеялась.

Шлойма почувствовал себя неловко: она как будто

стала какой-то далекой... Он уже не посмел бы сейчас поцеловать ее... Таня направилась к двери.

— Ну, Шлойма, я пойду. Да, завтра захвати протокол последнего производственного совещания, если он готов. Завтра будет собрание.

— Хорошо. Можно мне тебя проводить?

— Тоже, кавалер! Разве надо спрашивать? Ну, конечно, проводи до трамвая. Пошли.

Они вышли и заспешили к остановке. Проходили последние трамваи, пешеходов не было видно. Звезды, словно пойманные рыбки, мелькали в сети проводов.

— Ну, всего, — протягивая Шлойме руку, сказала Таня и вдруг обвила его шею и прижала к его губам свои, горячие, словно раскаленные...

И пошла... Из-за угла медленно выезжал последний трамвай.

Шлойма стоял и ничего перед собой не видел, кроме Таниной полосатой майки. И ему даже показалось, что вся улица, весь город натянул на себя белую полосатую майку...

1931.





В ОСВЕЩЕННОМ КРУГУ

Сапожник Хаим (его до сих пор так называют) погнал стадо домой. Впереди шли десятка два коров; сытые, они осторожно несли тяжелое розовое вымя, то и дело хлопая себя хвостами по круглым бокам. Хаим шел позади, зажав под мышкой длинный бич, и неторопливо свертывал сигарку.

Хаима не трогает, что его до сих пор называют сапожником. Ведь, в самом деле, двадцать лет подряд его так называли. И дед и отец его были сапожниками, ну и его обучили этому ремеслу. Но Хаим всегда не любил сапожничий фартук, дратву, колодки и низенький табурет с продавленным кожаным сиденьем. Хаиму даже казалось, что его жесткая, коротко подстриженная квадратная борода похожа на колодку, а желтая впалая грудь — на кожаное сиденье табурета. Глаза у него маленькие, косые, а черные брови торчат щетками.

Зато у Хаима длинные руки с широкими ладонями,

каждый палец — с рукоятку молотка. Вот эти-то руки и стащили его два года назад с сапожничьего табурета в колхозное поле. Да, вот уже второй год (а кажется, только что все это было), как райисполком выделил здесь, верстах в десяти от города, землю для еврейского колхоза. И почти все местечко сразу же перебралось сюда. Тогда тут, конечно, еще ничего не было. Понемногу вырос один дом, второй... Вон виднеется угол железной крыши. Поставили амбар, хлев. Но пока немногие живут с семьями, остальные смогут перебраться только в будущем году. Мужчины сейчас живут в одной большой комнате — общежитии.

Приобрели кое-какой инвентарь, лошадей и коров — неплохое стадо.

Впереди стада шагает бык Люкс. Он идет, разрезая воздух широким упрямым лбом, мотает головой и ревет оглушительным басом. Люкс — весь черный, только на передних ногах, на коленях у него белые пятнышки. Он не такой уж большой, но сильный, как лев. Его все боятся, обходят стороной. Однако с Хаимом он ладит — видимо, уважает его.

— Э-ей, ку-у-у-да?

Хаим щелкает длинным бичом. Люкс останавливается, поджидая коров, и степенно шагает дальше. Хаим довольно улыбается, зажимает бич под мышкой и снова принимается свертывать сигарку.

Приятно идти по серой после дождя земле меж стен высокой ржи. Дорога сворачивает направо, хлев уже недалеко.

— Э-эй! Ку-у-у-да?

Семка только что закончил свой рабочий день, проведенный на вишневых деревьях, и теперь отдыхал на высоком стогу сена посреди двора. Увидев Хаима, пригнавшего стадо, он быстро скатился со стога на землю и под-

бежал к дереву, на обрубленном суку которого висел ржавый кусок рельса. Семка подтянулся, достал лежавшую на ветвях штангу и начал стучать по рельсу.

— Глин-глон, бом! — напевал он при этом. — Коровы идут домой!

И побежал, весело оскалив зубы.

— Ах, байструк! — кричал ему вслед Мойше-Лейб. — Кто тебя просил? Марш, куда Люкс тебя не изувечил!

Мойше-Лейб поднял штангу, обтер ее и осторожно положил на место. Двумя пальцами остановил раскачавшийся рельс. Потом пошел встречать коров. Из раскрытых дверей уже выходили женщины в подоткнутых юбках с подсыниками и ведрами в руках.

Мойше-Лейб поставил последнее ведро молока на топчан. Теперь ему надо записать, кому и сколько доставить молока. Мойше-Лейб ощупал карманы, но, не найдя там бумаги, достал длинную книгу в пестром переплете и вырвал из нее несколько страниц. Это была старая приходо-расходная книга, в которой остались чистые листы.

Мойше-Лейб подошел к топчану, отодвинул ведро. Молоко плеснулось и, пузырясь, разбежалось кругами к стенкам. Мойше-Лейб достал из-за уха желтый карандашик и, ссутулившись, прижав левое колено к ножке топчана, начал записывать:

«Сепаратору — 50 стаканов молока, дояркам — добавочно...»

Он закончил писать и только тогда оглянулся на дверь, хотя уже давно чувствовал за спиной чей-то взгляд. Бейля стояла, сложив руки на фартуке, и смотрела сощурившись.

— Чего ты стоишь? Тебе нечего делать?

— Ох, Мойше-Лейб, я смотрю, как ты пишешь... Ты помнишь нашу лавку?.. Под вечер... Тоже так... с карандашиком... прижав колено к прилавку...

Мойше-Лейб взглянул на Бейлю, и вдруг в памяти возникло жаркое воскресенье. Лавка полна народу, не толкнуться. А на крыльцо поднимаются еще и еще... Веса качаются, как заведенные, на желтых чашах — в картузах и кулечках — сахар, соль, крупа, тарань, селедки, мыло... На одном косяке висят шлеи, веревки, на другом — длинные и короткие цепи. У порога большая бочка дегтя, а наверху, над связкой вяленой рыбы — красная вывеска с белыми буквами:

БАКАЛЕЙНАЯ ЛАВКА
М. Л. КАЛЬНИЦА

— Нашла время вспоминать. Коровы стоят во дворе, сепаратор пустой, а она встала...

— Тише! Тише! Скажите, пожалуйста, слова сказать нельзя. «Сиператор», «сиператор»... Я за ведром зашла...

— Ведро занято. Возьми другое. В сенях.

Вернулся с поля Нохим. Согнувшись, сел на свой низенький топчан, опустив между колен натруженные руки.

— Ну и день сегодня! Ко всем чертям...

Пришел Лейб, зажег висевшую возле окна лампу с закопченным стеклом и посмотрел на бочку, в которой выставлялся сыр, покачал головой и прикрыл бочку.

В дверях показался Берл — председатель, маленький, заросший волосами человек на кривых, но крепких ногах.

— Кто сегодня идет в ночное?

— Мойше-Лейб идет, — сказал Нохим.

— Почему я? — всполошился Мойше-Лейб.

— Да, да, ты! — подтвердил Берл. — Твоя очередь.

— Ну, ладно. А еще кто идет?

— Хаим.

— Вевин?

- Нет, сапожник.
— Ведь он вчера ходил!
— Должен был пойти Хаим Вевин, но он расхворался животом. Сапожник его заменит, а после тот заменит сапожника. Какая разница?
— Да. Ну ладно.

За молодой дубовой рощицей есть полянка, с которой еще не сняли второго укуса. Здесь пасутся лошади. Они стоят стреноженные и медленно жуют сочную траву.

Мойше-Лейб и Хаим развели небольшой костер. Огонь потрескивает, разгорается, пламя лижет росистую тьму. Рядом лежит кучка картошки, которую они испекут попозже. Мойше-Лейб лежит в освещенном кругу на тулупе, подложив под голову котомку, а Хаим сидит подальше, обхватив руками колени, и в зрачках у него пылают два маленьких костра.

Хаим молчит. Он может просидеть так всю ночь, обхватив руками колени, смотреть на огонь и молчать.

Мойше-Лейб знает это и тоже молчит. Хотя молчать ему совсем не хочется.

Шумят, шепчутся колосья. Оттого, что темно, кажется, будто колосья шелестят где-то здесь, совсем близко, в этом освещенном кругу. Но на самом деле поле гораздо дальше, там, за поляной, возле заросшего ручья.

Мойше-Лейб поднялся — захотелось курить, а табаку не было.

— Дай закурить, — сказал он Хаиму.

Тот пододвинул к нему жестяную табакерку.

— Спасибо. Бумага у меня есть.

Мойше-Лейб достал из кармана длинный лист, поднес его к огню посмотреть. Это была страница из старой при-

ходо-расходной книги, в которой осталось много чистых листов.

Но этот листок был исписан с одной стороны. Над двумя длинными колонками фамилий и названий товаров значилась размашистая надпись: «В долг».

Мойше-Лейб стал было разглядывать записи, но сказал себе: «Чепуха!» Согнул листок пополам, чтоб оторвать, и тут над линией сгиба вдруг увидел:

«Хаим — сапожник —	$\frac{1}{2}$	фунта рису.
»	»	$\frac{1}{4}$ подсолнечного масла.
»	»	3 селедки».

И вспомнилось все, как если бы это произошло сейчас... Будний день. В то время Мойше-Лейб перешел с верхнего этажа в подвальный и вывеску повесил над нижним входом. Бочка с дегтем уже не стояла у дверей. Склонившись над прилавком, он листал свою книгу. По ту сторону прилавка стоял сапожник Хаим. Он пришел расплачиваться и попросил показать, сколько за ним значит. Мойше-Лейб нашел нужную страницу, показал записи. Хаим водил большим пальцем по строчкам, но вдруг поднял голову и вонзил в Мойше-Лейба свои косые колючие, как острые гвоздики, глаза.

— Неправда! Не три селедки, а две! Отлично помню, это было в прошлый четверг. Жена принесла две селедки — именно две! — и я ей сказал: «Зачем тебе понадобилось две, мало одной на ужин?» И она мне ответила: «Пускай одна останется на завтра... Ведь дети... Завтра снова ходить... Взяла сразу две...» Слышите, две! Не три, а две!»

Мойше-Лейб косится на Хаима. Тот все еще сидит, обхватив руками колени. Снова разглядывает запись.

Отчетливо написано — «три»... Ясно — «три»... Мойше-Лейб чувствует, что лицо у него пылает — вероятно, от костра... Он отворачивается, берет охапку соломы и бро-

сает в огонь. Пламя выхватывает из тьмы качающиеся колосья и среди них — силуэт лошади.

— Буланый! — Мойше-Лейб вскакивает с места. Ну и Буланый!

И Мойше-Лейб бежит выгонять лошадь из хлебов, обронив второпях листок. Бумага осталась в освещенном кругу, подрагивая краем, будто тянулась к огню. Потом ветерок подхватил листок, пододвинул к костру. Там бумагу подхватили, словно пальцами, два недогоревших прутика. Она перевернулась, на секунду прикрыла пылающие ветки и вдруг вся вспыхнула.

Хаим приподнялся, склонился над костром и с любопытством стал смотреть на горевший листок. Огонь быстро окрасил его в черный цвет и только в середине оставалось белое пятнышко, на котором виднелась какая-то цифра — не то двойка, не то тройка. Но вот огонь лизнул и это пятно, листок вздулся, скорчился, надломился. Хаим дунул на него. Пепел разлетелся во все стороны, а костер разгорелся еще сильнее, осветив конские головы, склоненные к земле, и спутанные ноги. Из темноты, неуклюже прыгая, выбежал Буланый, заржал, потом умолк, склонив к земле свою большую голову с длинной гривой.

Мойше-Лейб подошел к костру запыхавшись.

— Ну и Буланый! Ну и разбойник! С трудом поймал его! Обязательно рожь подавай ему. Скажите, пожалуйста, какой деликатный!

Он сел на тулуп, поджав ноги, и, щупая картошку, добродушно продолжал:

— Лошадь хорошая, ничего не скажешь. А помнишь, Хаим, когда мы ее взяли, дохлятина была, кожа да кости... А теперь... Не правда ли?

— У-гу!

— А статъ! Смотреть приятно! А что норовист малость, так это ничего.

— Надо будет завтра запрячь его в плужок, картошку окучить, — сказал Хаим.

— Да, картошку... Совсем еще не окучивали... Все из-за дождя. Эх, как бы нужен был дождь.

— Окучить все равно придется, а то совсем пропадет. Вчера все-таки был какой-то дождик.

— Тоже мне дождик. Покапало, а ковырни землю — сухая...

— Одна, что ли, картошка? А свекла, а кукуруза?

— Да... Ох, нужен дождь.

Но Хаим вдруг перебил его:

— Ведь завтра же воскресенье... — и улыбнулся.

— Ну и что? — не понял Мойше-Лейб.

— Так ведь дождь базару помешает.

— Да-а... Хе-хе... — проговорил Мойше-Лейб и потрогал картошку. — Бери, Хаим, уже испеклась.

— Давай.

Они пододвинулись поближе к костру. Мойше-Лейб достал из костра картошку с почерневшей хрустящей корочкой, разломил ее пополам, выдавил в рот горячую массу и, обжигаясь, проглотил.

— Рассыпчатая картошка!.. Хороша!

1931.





КОМСОМОЛЬЦЫ

Часов в семь, когда солнце опускалось все ниже к земле, Калмон Грушевский торопился к землянкам, быстро шагая по колючему жнивью. Позади остались маленькие уютные вагоны-домишки, вросшие колесами в грунт.

В одном из этих вагонов, у старого своего знакомого, десятника Аврома, Калмон и прожил все эти дни. У Аврома было гораздо удобнее и теплее, нежели в большой землянке, где жили все шестьдесят комсомольцев Калмоновой бригады. Они прибыли сюда, в коммуну «Новая жизнь», на семь дней по распоряжению окружкома.

И вот сегодня последний, седьмой день. Еще одна ночь — и Калмон поедет к себе, к русоволосой Адели, в просторную комнату на третьем этаже, к желтому столу и обитому кожей стулу в учреждении... Вчера, лежа в слабо освещенном вагоне, Авром сказал ему перед сном:

— Стало быть, Калмон, ты здесь вроде старшего?

Как я, скажем, десятник. Ну-ну... А тебе везет, как я погляжу... И всегда так. У отца своего ты был единственным сыном, ты и командовал... Я помню, когда ты, бывало, играл с моим сорванцом в лошадки — всегда ты погонял... Такая, видно, семья у вас. И отец твой, царство небесное, тоже... Помню, когда я возил его по садам, никто не смел ему слово сказать! «Кому — мне? Нояху Грушевскому? Как так?» Да, вот я и говорю...

«Значит и Авром уже знает, что говорят ребята, — думает Калмон. — Но причем тут отец? Он умер в семнадцатом году, когда Калмону было всего каких-нибудь одиннадцать. С тех пор он живет один. И чего только пережить не пришлось! Был он и батраком, и на Донбассе работал. Так причем тут отец? Его назначили бригадиром и дело с концом...»

А ребята шумят с каждым днем сильнее:

— Хоть он и бригадир, а тоже мог бы взять вилы в руки и работать! Писать сводки в окружном — двух часов в день более чем достаточно, а в остальное время — нечего симулировать! Не надзирателем его сюда послали...

А наглее всех Витька. Он смеется прямо в глаза и всех ребят настраивает против него...

Калмон Грушевский крепче обхватил свой узел, перетянутый ремнями, застегнул пуговицу пальто и, закусив губу, продолжал шагать в высоких, за колено, сапогах к двум землянкам, уже показавшим горбатые крыши и несколько слепых окошек над землей.

Большая коммуна «Новая жизнь» на время уборки вся перебралась в степь, в землянки и в небольшие красные вагоны с чернеющими дымовыми трубами. Эти вагоны вместе с молотилкой перетаскивают с места на место, и после них возле высоких соломенных скирд остаются глубокие следы колес. Три таких вагона стоят возле зем-

лянок постоянно, в них помещаются медпункт, милиция и церабкооп.

Сейчас, на закате, здесь, на просторной площадке между вагонами и землянками тихо и спокойно. Никого нет. Лишь уборщица наливает в баки воду для умывания.

Ступени, ведущие в землянку, чисто подметены. И в полутемной землянке чисто. Возле входа широкий обтесанный столб упирается в низкий потолок. Между двухэтажными нарами в проходе еще три столба — они поддерживают верхний накат.

Калмон положил свой узел на стол — три длинных сколоченных доски — и забрался на верхнюю нару — поискать среди уложенных рядом жестких соломенных матрасов свободное место.

«А вдруг ребята придут и застанут здесь... Ну и что же? Ничего. Скажу — боли в животе... Лучше, пожалуй, было поработать. Ребята-то чужие...»

Впервые он встретился с ними три недели назад в большом зале заседаний окружкома, куда их собрали по три—четыре человека от ячейки — всего шестьдесят человек.

После собрания секретарь указал на него:

— Ну, ребята, а вот это — ваш бригадир. Вот он стоит — видный такой. Вы должны его слушаться во всем в порядке комсомольской дисциплины, в порядке фронтовой дисциплины, потому что едете вы не играть! И курево и все прочее тоже требуйте от него!

Ребята осмотрели его с ног до головы и сказали:

— Ладно!

А спустя неделю Латун сказал ему:

— Что же ты себе думаешь? Раздавать папиросы и расхаживать с блокнотом да записывать? Мы думали, ты тут горы ворочать будешь, такой парнище!

Подошел Витька.

— А ну-ка, возьми грабли и развороши сено вот здесь, — предложил он.

А когда Калмон, взглянув на грязные и вспотевшие лица ребят, на разбухшие от мозолей руки, сказал, что ему некогда, что он должен отослать сводки в окружном, ребята отошли от него и с этого дня в его адрес посыпались козкости и Витькины насмешки. Но сегодня с этим должно быть покончено.

Вошла уборщица, оставила дверь открытой и сказала:

— Едут.

В землянку доносились скрип колес приближающихся арб и мелодия какой-то протяжной песни.

А когда уборщица зажгла круглый, оплетенный проволокой фонарь на столбе, шаги ребят уже слышались на ступеньках.

— Ох, ребята, и наработалась же я! Ни рук, ни ног, ни спины не чувствую... — сказала Манька, сбрасывая платок с каштановых растрепанных волос и садясь на свое место.

— Да, да, — протянула Сонька, щуря черные горячие глаза на фонарь. — Выкрути нашу прекрасную лампу — уж больно светло горит!.. Слушайте, ребята! — продолжала она. — Есть у меня тетка, толстая такая. Когда вымоет пол, начинает голосить: «Ой, мои рученьки, ой, мои ноженьки! Ой, мой «подзвоночный столб!»... Вот и нам так надо, ха-ха! «Мой подзвоночный столб!»

И, обняв столб, она присела рядом с Манькой.

— О, бабы разревелись! — проговорил, входя, Мишка. — Что случилось? Нет, в самом деле, что случилось?

— Ишь, забеспокоился, а сам лезет на нары... Даже не умылся...

— Подумаешь, какая важность. Умылся. Лучше поспать. Последний денек! Попробуй целый день подавать снопы на барабан, тогда узнаешь...

Виктор заметил Калмона и подошел к нему, приветливо помахивая рукой:

— А-а! Мое, мое, мое!.. Давай по доброй воле папиросу!

Калмон подал папиросу. И Виктор продолжал дружески, освещая огоньком папиросы свои тонкие ноздри и смешливо приподнятые брови над серыми глазами:

— Стало быть, ответа из окружкома ты все еще не получил? Вот! Человек пишет и пишет, как проклятый, три недели подряд, а ответа не получает... Однако все это мелочи, не так ли? Главное — писать, а потом отдыхать. Отдыхаем, а?

Калмон закусил верхнюю губу и поглядывал из-под козырька на ребят, собравшихся вокруг него и Витьки.

Манька встала напротив и, причесывая свои каштановые волосы, сказала:

— Володька — такой слабосильный паренек, маленький, тощий, а работал, пока не захворал, а ты — такой здоровила, ни черта не делаешь... Володьку вчера Латун отвез в город. Знаешь?

— Он даже не спрашивает, где Латун, где Володька, — заметила Сонька. — Вот он будет в окружкоме и дознается, в качестве кого тебя сюда посылали: надзирателем, или, как и нас, мобилизованным на село...

Ребята столпились вокруг стола, загородили скупой и неровный свет от криво повешенного фонаря и с раздражением поглядывали на Грушевского, прятавшего лицо в тени.

— Не о чем мне с вами разговаривать... Окружком послал меня, перед ним я и отвечаю...

— Нас всех посылают окружком!

— Как это ты не желаешь с нами разговаривать?

— Да, с такими бузотерами, как Витька, я разговаривать не хочу.

— Не пристало тебе? — спросил Витька и обратился к ребятам: — А ну-ка давайте сейчас устроим собрание! — он постучал по столу. — Я буду председателем. Согласны? Согласны. Вот, не смейтесь, я покажу вам пролетарскую установку! К порядку!

— Ох, Витька, брось трепаться со своим собранием! Пошел на левый бок. Выспимся лучше... Последний денек... — сонливо проговорил Мишка на верхней наре.

— Ну, ты там! — крикнул Витька. — Хочешь, сейчас назначу тебя секретарем собрания! Смеешься?.. Именно потому, что это последний денек, нельзя оставлять. В комсомоле торчит этакий балласт — пять пудов человечины, работы от него и на золотник не дождешься, а ячейка носится с ним! Если мы сегодня оставим это дело, с ним и дальше носиться будут! Это, по-вашему, пролетарская установка? Да? Тише! Общее закрытое комсомольское собрание считаю открытым! Предлагаю секретарем Мишку Рабиновича. Никто не возражает? Нет. А ты — там! Давай слезай!

В углу вазле дверей собралась группа ребят вокруг десятника Аврома. Ребята кричали все сразу, доказывая Аврому, что он их обманывал, все время неправильно отмерял, сколько кто выработал.

— Восемьсот пудов, говорите вы? Быть не может! Правда, в первый раз в совхозе мы выработали не больше. Но ведь это с непривычки, впервые принимались за такое дело. А здесь? Здесь мы уже сделали... Позвольте-ка, сколько у здешних рабочих выдает молотилка за день? Полторы тысячи пудов? Ну, вот! И мы столько же сделали! И нечего обманывать! Умник какой вбискался!

Но Авром твердил свое, прикладывая руку к уху:

— А? Что такое? Полторы тысячи пудов? Дудки! Наши делают тысячу двести, четыреста, самое большее — тысячу пятьсот пудов, — медленно тянет Авром. — А

вы — хи-хи, — заканчивает он коротким смешком, не оставляющим сомнения в том, что ребята работают слабее.

Но Гришку, главного крикуна, это не убедило, он крикнул на всю землянку:

— Эй, Сонька! Сонька, ты сегодня на весах стояла. Сколько мы сегодня обмолотили?

— А что? Авром пришел? Скажи ему, чтоб не обманывал! Я сегодня нарочно считала: тысяча пятьсот, тю-телька в тю-тельку! — ответила Сонька из своего угла.

Ребята с веселым «Ага!» налетели на Аврома. Сонька была занята в своем углу. Она, окруженная девчатами, держала в руках задушенного мышонка. В землянке было немало мышей. По ночам они прыгали на нары, вызывая неистовые крики перепуганных девушек.

Теперь они стояли, едва сдерживая отвращение и стараясь не визжать, смотрели на Соньку, которая мышей не боялась. Пойманного мышонка она задушила и держала за длинный хвост.

— Паразита — убей! Чего тут брезговать, не понимаю! — сказала Сонька, сморщила нос и пожала плечами. Она швырнула мышонка в угол и подошла к столу, где Мишка сидел уже в кожанке, накинutoй на грязную рубаху, и искал в кармане карандаш. За столом сидели все. Те, что успели лечь, теперь сидели на нарах, спустив босые ноги.

Авром тоже подошел к столу и спросил, приложив к большому уху руку:

— Закрытое собрание, говорите вы? Значит, мне нельзя присутствовать? Сын у меня — партиец, а я сам — нет... Но уж если собрание, то мне хотелось бы парочку слов сказать, если позволите... А потом я уйду.

— Ну, как? Разрешим ему? — спросил председатель. — О чем ты хочешь говорить?

— Ну... об... так... вообще...

— Да, вилами он работает лучше, чем языком! — сказал Витька. — Но надо думать, что старик зря слов на ветер не бросает.

— Давай, десятник!

— Ребята недовольны, что я будто бы не все учитываю, что вы сделали... Надо правду сказать, — у Аврома от улыбки исчезли белки глаз, — был такой грех... Но только не со злым умыслом... Бригадиру я давал ежедневно точные сведения, а вам говорил намного меньше, тогда вы на следующий день делали больше. А сегодня вы действительно сделали все тысячу пятьсот пудов...

— Ага! Ага!

— Ну, конечно. Я правду вам говорю. Сегодня ведь последний день. То есть, по правде говоря, мы послали телеграмму, чтоб вас оставили еще дней на пять, по крайней мере, потому что нужны вы нам, как воздух... Но это мы еще посмотрим. Вы спрашиваете, принесли ли вы нам пользу? О-го! Вас здесь будут помнить долго и после того, как съедят намолоченный вами хлеб! Но есть у вас, ребята, и недостаток, которого, пожалуй, не должно быть... Я имею в виду дисциплину... Чересчур много ругаетесь, не при девушках будь сказано... Конечно, ребята, я сам бывший извозчик и сам знаю цену «деликатному» слову... Но среди вас, кажется мне, этого могло бы и не быть. Вот вчера работает один из вас по одну сторону стога, а второй — по другую. Внизу стоят наши работницы, а парни наверху перекликаются: «Гришка!» «А-у! — отвечает тот». «Помер Максим!» А тот ответил хоть и складно, в рифму, а только стыдно мне было перед нашими работницами...

Ребята рассмеялись, но Витька их остановил и, положив руку Аврому на плечо, сказал:

— Ты прав, десятник, целиком и полностью! Я и сам

ругался! Но вот обещаю: если будем работать завтра — ни одного такого слова не услышишь! Договорились!

И — к секретарю:

— Запиши: первый вопрос — о дисциплине. Второй — о Грушевском.

Грушевский сел вполоборота к столу, оставив ноги по ту сторону скамейки, и положил перед собой свой бригадирский блокнот, прикрыв его руками, спрятанными в брезентовые рукава.

— Кто просит слова?

Поднялось несколько рук сразу.

— Порядок, порядок, товарищи! Всем будет дано слово.

Выступали Рабинович, Гришка, Сонька, Манька и другие. Говорили о том, что Грушевский на первых порах больше всех болтал, что нужно работать, и пугал окружком, а оказалось, что сам он ничего не делает. Не захотел даже спать в землянке со всеми ребятами, а устроился у десятника; а третьего дня он и вовсе не вышел к молотилкам — уехал верхом на целый день в деревню, черт его знает, зачем... Гришка предложил снять его с должности бригадира и выбрать другого. Но Рабинович сказал, что Грушевского назначил окружком и поэтому снять его без окружкома нельзя. Сонька сказала, что Грушевского самого надо немедленно отправить в окружком, и нечего с ним цапкаться!..

Потом слово взял опять Витька:

— Кто там рассказывает байки насчет окружкома? Я сам окружком! — сказал он, стукнув себя по груди, и обратился к Грушевскому: — Я сам окружком! И говорю тебе: хочешь работать как настоящий пролетарий? Тогда оставайся бригадиром и блокнот твой останется при тебе. А не хочешь — убирайся вон! Сию минуту — вон отсюда! И чтоб я тебя больше не видел!

Витька с силой прижал кулаки к столу, и тени перебежали по его лицу, каждый мускул которого был полон гнева. Успокоившись немного, он сказал Грушевскому, который все еще сидел, опустив голову на руки:

— Твое слово.

Грушевский только чуть приподнял голову и начал своим низким спокойным голосом:

— Вы здесь все меня оскорбляли. Все время оскорбляете... Вы пользуетесь тем, что Грушевский отнесся к вам как товарищ и на другой день не отослал половину ребят в окружком за ваше поведение. Вот сегодня даже беспартийные указывали... Меня окружком назначил руководителем, а вы, значит, выступаете против окружкома? Так поступают комсомольцы? А знаете ли вы, что я бывший шахтер и работы не боюсь. Грушевский завтра же выйдет на работу и покажет вам, что он умеет...

— Почему же ты до сих пор не показал? Ты, шахтер? — шумно перебили ребята.

— Да, знайте, что я от работы не отказываюсь. Так и запишите в протокол: я хочу работать. Но в таком случае выберите другого бригадира...

В землянке стало шумно. С десятков рук поднялось кверху.

Думая, кому бы первому предоставить слово, Виктор вдруг увидел у входа Латуну.

— О, Латун! Ребята, Изька вернулся! Иди сюда, Изька! Что слышно?

— Как там Володька?

— В окружкоме был?

Латун подошел к столу и, широко улыбаясь, обвел своими черными глазами собравшихся. Остановился на Калмоне.

— Ах, это вы о нем вопрос обсуждаете? Давно пора взять его в оаботу. Погодите-ка, дайте отдышаться. Пят-

надцать верст от станции на кляче тряся, в темноте, хоть глаз выколи... Натек-ка, закусите!

Он достал из верхнего кармана наган, положил его на стол, потом вытащил кулек с печеньем. Когда ребята поделили печенье, он спросил:

— Вы еще с этим вопросом не покончили? В таком случае моя информация будет потом...

— Нет, нет, давай сразу! Что у нас — торжественное собрание, что ли?

— Ну, тогда слушайте. Прежде всего насчет Володьки: я доставил его домой, теперь он уже в больнице. Все время держалась высокая температура — 39, 40, похоже, что это — воспаление легких... Но он выдержит, ничего! Теперь относительно окружка. Я там расспросил насчет Грушевского. Ничего подобного! Он мобилизован наравне со всеми на работу. Ему только дано право работать по восемь часов в день, а пятый день — выходной. Остальные — работать.

— Это — неправда! — воскликнул Грушевский.

— Что — неправда? — медленно повернул к нему Латун смеющиеся глаза.

Грушевский молчал.

— И еще — бумага из окружка, вот она: мы остаемся здесь еще на пять дней. А о Грушевском я тоже хотел сказать, — продолжал Латун, доставая из кармана распоряжение.

Но Грушевский его перебил, он поднялся красный, с перекошенным лицом.

— Не говорите о Грушевском! Я не позволю! Если вы собираетесь меня учить, то не надо мне всего этого! Вот вам мой комсомольский билет!..

Но руку из кармана он вытащил пустую. Отошел от стола, остановился возле столба у дверей.

— Слыхали? Комсомольский билет отдает!..

— Билетом швыряется...

— Шахтер еще называется!..

Шум нарастал.

— От билета отказывается! Видно, легко ему достался...

— Как это так?! Ну, и не видать тебе его, как ушей своих...

— Если ты способен на такой поступок из-за нескольких дней работы, то кто же ты такой? — громче всех крикнула Сонька, глядя на Грушевского широко раскрытыми, горячими глазами.

— Кончено! — крикнул Виктор и ударил по столу: — Выбирайте бригадира!

— Правильно! Правильно!

— Другого бригадира выбрать!

— Называйте кандидатуры!

— Виктора! — раздалось несколько голосов.

— Уж он даст пролетарскую установку!

Когда руки, поднятые за Витьку, опустились, Латун сказал секретарю:

— Так и запиши: общее закрытое комсомольское собрание постановило: бывшего бригадира Грушевского за отказ от выполнения возложенной на него работы с должности бригадира снять и отослать в распоряжение окружного!

Грушевский все еще стоял у дверей со своим узлом под мышкой. При последних словах Латуна он шагнул вперед:

— Кого? Грушевского в распоряжение?.. И — кто? Вы?

Он резко повернулся и толкнул дверь. Она легко вздохнула, закрываясь, а за нею послышался стук упавшей метлы.

— Ушел! — сказал кто-то.

— Ну, и... умер Максим! — проговорил хриплым го-

лосом Витька и рассмеялся. — А теперь — мой первый приказ: спать! Уже, наверное, второй час.

— Вот это правильно! — сказал Латун.

— Собрание считаю закрытым!

Через четверть часа слабый свет прикрученного фонаря едва касался свисающих пяток сладко спавших ребят. И только на нижней наре девушки все еще перешептывались. Но и там старались уснуть, потому что спать оставалось уже недолго.

Через каких-нибудь три часа окна стали литься, и Авром, едва выделяясь из серой мглы, уже стоял посреди землянки и стучал по доскам верхней нары:

— Пора вставать, ребята! Пора... Светает...

Как всегда, первым проснулся Витька — словно и не спал. Натягивая башмаки, повернул взлохмаченную голову к ребятам, которые уже тоже сидели и спросонок лениво почесывали подмышки, и спросил:

— Ну, как, ребятки? С охотки спалось?

Через десять минут они уже уселись на длинные арбы и поехали по тряской дороге к молотилкам. Где-то на полпути их нагнало торопливо поднимавшееся, опаздывающее солнце. Но быстрые кони несли вперед ребят, оглашавших коротко остриженную степь веселой и радостной утренней песней:

— Та ти-ра гоп ти-ра...

— Та ти-ра гоп ти-ра!..

1931.





ЗОЛОТО

1

Вот уже третий день, как Доба-тошная не выходит из дому, не переступает порога.

Страх перед тем, что у нее будут искать золото, что ее ограбят, все возрастает. В последнее время этот страх не покидает Добу ни на минуту, сторожит у ее изголовья, то скрипнет дверью, то прошуршит под крышей, то ветром ударит в ставень... Точно живое существо, этот страх шагает по дороге от крайней избушки местечка до первого двора деревни и вот останавливается возле Добиного дома посреди тракта.

Доба сидит на высокой остывшей печи в темном углу. Вокруг бродят запахи старых субботних чугунов, опаленной курицы, грязной клетки, в которой томится старый индюк. Доба держит во рту под языком, чтобы не скоро растаял, кусочек мучнистой карамельки и пьет остывший кофе из черного горшка, сжимая его худыми искривлен-

ными пальцами. Взгляд ее больших, черных, слезящихся глаз то и дело обращается к полуоткрытой двери, ведущей в сени. Там, запертый в клетке, с полузакрытыми глазами старика, чутко дремлет индюк, в любую минуту готовый приоткрыть узенькие щелочки. Это совсем не тот индюк, что был три года назад, когда Доба принесла его с базара и посадила в эту клетку, — он вылинял, поблек, и нитка красных бус у шеи бледнеет с каждым днем.

Сейчас Добе кажется, что индюку тоже страшно. Он то и дело встает на свои тощие и грязные ноги, покрытые чешуей, царапает когтями грязную клетку и вдруг кричит, совсем как в доброе старое время:

— Олдр-олдр!

Доба вздрагивает.

— Что это его там разбирает? — ворчит она и свищет с печи так, что едва не касается длинной седой прядью золы на припечке.

— Олдр-олдр! — снова кричит индюк.

Доба отставила горшок с кофе и прикрыла его тряпкой. Из-за редких пожелтевших зубов вынула остаток карамельки, завернула в бумажку и спрятала в карман передника. Потом она осторожно слезла с печки, упираясь рукой в потолок, и, путаясь в залатанной юбке, вышла в сени.

— Олдр-олдр! — раскричался индюк, очевидно полагая, что хозяйка принесла ему поесть.

Из верхнего узенького окошка над клеткой тянулась бледная полоска света, еле пробиваясь сквозь паутину и мутные стекла.

Доба наклонила голову набок, подперла рукой запавшую морщинистую щеку с волосатой бородавкой и проговорила, обращаясь к индюку:

— Провались ты! Ешь то, что под ногами...

Индюк глянул на Добу круглым глазом, тоже нахло-

нил голову, будто хотел сказать: «Оба мы с тобой мытаримся... И чем это все кончится?»

Доба успокоилась и пошла из сеней обратно к печке, но тут дверь, не привыкшая, чтобы ее часто отворяли, вдруг запела ржавым голосом. Встрепенулся индюк, вздрогнула и Доба.

— Кто там?

В дверях стоял невысокий старик с длинной курчавой бородой и острым взглядом из-под нависших бровей шарил по избе.

— Помоги бог! — произнес он хрипло.

Одна бровь у него была выше другой, и казалось, что глаза глядят в разные стороны, так что ничего от них не укроется.

Доба съежилась от этого взгляда, замызганная юбка и рваная кофта, из-под которой торчали куски подкладки, обвисли на ней еще больше.

Она хотела уже сказать: «Идите, идите... Мне нечего подать... Носит вас нелегкая...»

— Вы меня не узнаете? — обиженно проговорил вошедший и уставился на нее одним глазом, в то время как другой смотрел на индюка.

— Смотрите, пожалуйста! Лейви-Герш? — удивилась Доба. Хотя она его узнала, голос ее оставался холодным и чужим. — Гость... Давно не видала...

С минуту они смотрели друг на друга, наконец Доба сказала:

— Вы, наверное, думаете, что для вас есть работа? Нет, Лейви-Герш, не те времена... Нечего резать...

— Да, не те... Где там резать, что резать? Разве что свиней в этом колхозе...

Лейви-Герш вздохнул, провел рукой по бороде и поставил на пол корзинку, прикрытую тряпицей. Выждал минуту, думая, что его пригласят войти. Но Доба молча-

ла. Лейви-Герш постоял, переминаясь с ноги на ногу, и сказал громче:

— Где оно, Доба? Где то время, когда я у вас резал жирных кур и откормленных гусей к осенним праздникам?

Лейви-Герш метнул взгляд на клетку. Индюк, словно что-то предчувствуя, попытался отозваться, но, видно, сил у него не хватило, и он улегся, прикрыв глаза.

— Хорош я стал, не правда ли, Доба? — сказал Лейви-Герш. — Да и вы тоже... Скажу вам правду: когда-то говорили о вас в местечке, что вы красивая. Шутка ли, мануфактурщица Доба... Красавица! Так говорили о вас... Мне, конечно, тогда на вас и смотреть не полагалось... Ну, что такое резник... А сейчас, я вижу, вы выглядите неважно.

Доба не любила, чтобы ей напоминали о прошлом, она сторонилась людей, которые помнили о том, что она была местечковой богачихой, имела лавку «красного товара», бакалейную лавку и заезжий двор. А сейчас ее звали «Доба-тощая».

— Что у вас в корзинке? — спросила она.

Лейви-Герш огляделся по сторонам.

— Пара белья из мадаполама. Шелковые чулки, есть и простые. Отрез сукна. Дети, дай им бог здоровья, присылают мне из Ленинграда. По талонам это там дешевле...

— Значит, живете кое-как? Все-таки мужчина...

— Думаю, я зарабатываю? Боюсь... Э...

Снова заскрипела дверь. Лейви-Герш, собиравшийся развязать корзинку, насторожился.

Вошел младший сын Добы, двадцатичетырехлетний Исосхор, единственный сын, оставшийся с ней. На пороге он низко наклонился, а когда расправил плечи, чуть не достал головой до потолка. Взглянул насмешливо на гостя и проговорил басом:

— О-о, Лейви-Герш? Хорошо, что вы здесь.

— А что такое? — Лейви-Герш стал боком двигаться к дверям.

— Не удирайте, погодите минуточку. Резак при вас?

— А что такое?

— Я имею в виду большой, не тот, что для голубей...

— А если большой, так что?

— Тогда вы сейчас зарежете этого вонючего индюка.

Доба бросилась к клетке и заслонила ее, раскинув руки:

— Злодей!

Исосхор мгновение смотрел на нее, ничего не говоря. Затем сжал кулаки, на вспотевшем лбу, на шее вздулись темно-синие жилы. Он крикнул:

— Мне нужны деньги, мамаша!

Лейви-Герш забрался в угол у дверей со своей корзиной, готовый удрать в любую минуту. Доба метнула на сына колющий взгляд, но обратилась не к нему, а к Лейви-Гершу:

— Думаете, он у меня живет? Раньше таскался по улицам с ворами, а теперь решил осчастливить колхоз...

Она повернулась к сыну.

— Мало тебе дают?

Исосхор еле сдерживался.

— Всегда была скупердяйкой. Прячешь, да?

— Вон! — крикнула Доба, потрясая кулаками.

Но слова у Исосхора уже летели, как искры из костра.

— Я весь дом разберу. Разнесу эту мерзость! Гниешь вместе со своим золотом!

Он ударил жилистым кулаком по грязной клетке.

— К черту! К черту этого индюка! Что он тебе — отец или муж? Сидит тут над кошельком с золотом... Еще посмотрим!..

— Это с матерью так... — чуть не задохнулась Доба, обернулась к Лейви-Гершу, но только махнула рукой.

— Мать? Где у меня мать? — проговорил Исосхор. — Не ты ли всегда гнала меня из дому?

Он поднял кулак к морщинистому лицу старухи, повернулся и вышел, хлопнув дверью так, что корытце в клетке подскочило и вода из него пролилась. Индюк встал, сердито надулся и снова упал, издав при этом какой-то странный звук.

Перепуганная Доба с минуту стояла молча.

— Слыхали?

Лейви-Герш вытер пот со лба.

— Я его помню, еще когда ему было лет тринадцать, то есть, когда вы еще жили в местечке. Особенной радости он и тогда вам не доставлял...

— Пока было что тащить из дому, я была матерью, и он мог транжирить... А сейчас...

— Слышал... слышал... — отозвался Лейви-Герш и направился к выходу.

Доба его остановила:

— А что вы такое слышали? Что вы думаете?

Она забежала вперед и, сощурившись, посмотрела ему в лицо.

— Слышал все, что он говорил. Не глухой же я.

— Слышали? Можно и в самом деле подумать, что у меня золото валяется... Парень с ума сошел. Бедная его мать! Вы разве не видите, что он тронутый... Золото какое-то... Он и сам не знает, что говорит! Разве разумное дитя так обходится с матерью? Скажите вы, Лейви-Герш!

Она подняла передник к мокрым глазам, ее плечи, седая голова тряслись.

— Помнят еще обо мне в местечке? Говорят о Добе? — вдруг спросила она.

— Ну конечно, говорят...

— Говорят? Наверное, думают, что у меня еще кое-что сохранилось? Разве не ходят такие слухи?

— Ходят или не ходят... Говорят... Мало ли о чем люди судачат... Стану я слушать все, что говорят!.. Недавно встречается меня один человек — не могу вам назвать его имени, но очень порядочный человек — и спрашивает, не знаю ли я, где можно достать золотые пятирублевки. Теперь этого нигде не достать. Если и были у кого, так либо их отобрали, либо сами давно уже снесли в «Торгсин». На прошлой неделе в местечке забрали последнюю пятерку. Они говорят, что на эти деньги строят заводы... К чему я вам это рассказываю? Просто так, зашел к вам, вот и рассказываю... Зачем я зашел, хотите знать? Я бы, конечно, не зашел, если бы Исосхор не говорил мне, что вы хотите зарезать индюка. Дело в том, что Исосхор, как только встречается меня, говорит: «Мать велела, чтобы вы пришли зарезать индюка...» А когда меня приглашают резать, я всегда беру с собой корзинку. То есть, разумеется, если увидят, что я торгую, то по головке не погладят. Но если догадаются, что я хочу резать, то и вовсе стыдно будет людям на глаза показываться. Резник, что такое резник? Хотя, с другой стороны, а что же мне делать? Идти в колхоз? С ума я сошел, что ли? Так я думал, что вы хотите зарезать индюка, но я уже слышал... Подумайте, однако, о том, что я вам говорил. Уж раз я пришел, не надо ли вам отреза сукна на юбку, ленинградское сукно. Это, конечно, не то сукно, которое когда-то было у вас в лавке... Нет, у Лейви-Герша нет ни гроша за душой. Сами видите, в чем я хожу...

Когда Лейви-Герш подошел к двери, она опять его остановила:

— Хочу вас попросить, Лейви-Герш...

— Для вас, Доба, с удовольствием.

— Прошу вас, не рассказывайте никому...

Прошло несколько недель. Один раз за это время проснулся среди ночи индюк, тревожно закричал. Доба испугалась, вышла в сени, но там никого не было.

Исосхор уехал в город. Она давно его не видела.

Тем временем избушка Добы совсем накренилась. Несколько лет назад Доба купила ее у одного крестьянина, получившего этот домишко по наследству от матери. Крестьянин был нездешний и собирался разобрать избу, тем более, что она уже свое отслужила. Тут ее и откупила Доба.

Изба стояла на тракте, ведущем к деревне, в которой и был организован большой колхоз.

Забор вокруг избы давно уже завалился. Между досками буйно разрослась крапива, достигавшая ободранной крыши. Во дворе все дорожки заросли лопухами и травой. Из углов выглядывали кусты колючего репейника. Перед домом росла кривая дикая яблоня, положив на крышу одну свою засохшую ветвь; по обе ее стороны слепыми глазами глядели закрытые ставни.

Тусклый, неровный свет скользил по стенам комнаты, перебегал с одной фотографии на другую. На одной фотографии Доба и ее муж. У нее на высокой груди — медальон, волосы взбиты, лицо усталое. У мужа — подстриженная бородка, подкрученные усы, по жилету цепочка. Паук затаил фотографию серой сетью, полной дохлых мух. На окне сиротливо стояла треснувшая фарфоровая лампа. На голом столе чадила копилка из аптекарского пузырька с жестянкой. Рядом лежала холодная, недоеденная, круто посоленная картофелина, стоял черный горшок из-под кофе.

Доба, скрючившись, сидела в углу на кровати. Она бормотала что-то, глядя в одну точку на стене. В паутине

едва шевелила лапками муха. Из-за ставень доносился лай собак, он то стихал, то снова становился громче. Огонек коптилки замигал — кончился керосин. Тень от крюка, торчавшего посреди потолка, начала метаться в разные стороны, то вытягиваясь, то сжимаясь. Доба погасила огонь и прислушалась. Под ставнем билась о стекло бабочка. В сенях индюк крикнул со сна не своим голосом. Доба достала из-под слежавшейся постели глиняную лепешку, положила ее на костлявые колени и привычными движениями нащупала круглые впадинки:

— Восемь, девять, десять... — медленно считала она.

Еще в ту пору, когда купила индюка, Доба замесила песок с глиной и, пока масса не засохла, вдавила с обеих сторон все свои золотые пятирублевые монеты. Потом вынула и запрятала их в разных местах — в грязь под индюком, под потолком, возле крюка... Часто она так доставала засохшую глиняную лепешку, тощими пальцами ощупывала оттиски...

Тяжело, как будто она весит много пудов, Доба переворачивает лепешку на другую сторону, вздыхает. Пятирублевки, отпечатанные на этой стороне, имеют свою историю, которую Доба не может вспоминать без боли.

В деревне, там, где сейчас колхоз, брат Добы Зайвл много лет имел свою мельницу, усадьбу и большой красивый дом. Назло местным кулакам этот дом с зелеными ставнями стоял посреди деревни, рядом с церковью. Однажды в конце субботы Доба приехала к Зайвлу. Жила она хоть недалеко, но гостьей была редкой. На этот раз ее застигла ночь, и Доба осталась ночевать у брата. Она помнит как сейчас — все спали, и она влезла на чердак. Неподалеку от трубы на веревке сохла конская шкура. В этом месте она и зарыла шерстяной чулок, набитый золотыми пятерками...

Вскоре после этого в селе организовали колхоз. Зай-

вла со всей его семьей выселили. Окна красивого дома заколотили досками — дом стал хлебным амбаром...

Об этом и думает сейчас, сидя на кровати, Доба. Об этом она может думать целые ночи напролет. «Как достать оттуда заветный чулок?»

Если бы она его достала, она бы вложила туда остальные пятирублевки и уехала отсюда. Куда? Куда глаза глядят, лишь бы не оставаться здесь, в этой западне, где нельзя даже высунуть голову... Но без этого шерстяного чулка, о котором, кроме Зайбла, не знает ни одна душа, — она не может тронуться с места...

3

Рассвет разорвал и разметал серые клочья тумана. По одну сторону дороги уходят вдаль ровные, лишь кое-где холмистые поля, по другую сторону поднимается частый лесок. Молодые дубы, вперемежку со светло-зелеными кустами орешника, стоят среди высоких сосен. Кое-где тянутся вверх тонкие березы с кудрявыми вершинами. У леса — опушка с низко подрубленными пнями.

Кряхтя, Доба осторожно приоткрыла криво висевший ставень, посмотрела на дорогу, которая, огибая ее дом, упиралась прямо в амбар рядом с церковью. Церковь высилась посреди села двумя пузатыми куполами без крестов. За ней над сельским клубом трепетал на ветру красный флаг. Доба разглядывала заколоченные окна амбара, двор, старую акацию, которая там росла. С ветвей дерева поднимались черные стаи ворон и садились на крышу амбара, сгоняя оттуда голубей, которые спокойно ворковали возле трубы. Голуби взмывали кверху и исчезали белоснежными комочками. Вороны бегали по двору, выхватывали у кур рассыпанные зерна, садились на спины кабана

и коровы, разгуливавших здесь же, на телегу, стоявшую с опущенным дышлом возле дверей амбара.

— Слава богу, устроили... — бормотала Доба, облизывая сухие губы и глядя на амбар. — Во что они его превратили, дом Зайвля...

Шлепая опорками, она подошла к индюку.

— Слава богу, — произнесла она, постукивая по клетке. Налила воды в корытце и проворчала: — Отныне — спаси, господи, и помилуй...

— Олдр-олдр, — едва слышно отозвался индюк, закатив круглый глаз, глотнул воды.

Двух вещей больше всего боялась Доба: чтоб не подох индюк и не сгорел амбар. Она слыхала: случается, что в колхозах кулаки поджигают амбары...

«Вот если б так было, — думала она, — чтобы вдруг вспыхнул пожар и охватил все село, весь колхоз. Чтоб сгорели дотла все дома, и люди, и кони, и коровы, — все до дышат и наседок... И чтобы только ее амбар уцелел».

Вечером, перед тем как закрыть ставни на ночь, Доба снова стояла у окна.

Солнце погружалось в пламенеющее зарево за селом. Все небо было охвачено багровым огнем, так что флаг над сельским клубом был едва заметен. Черными точками казались вороны, сидевшие на ветвях акации.

Во дворе у амбара стали собираться люди. Их становилось все больше и больше. Приехал на машине представитель из района. Он вышел, и его окружили со всех сторон. Люди о чем-то говорили, жестикулировали. Скоро машина укатила. Люди на дворе долго еще разговаривали, потом стали расходиться. Возле амбара сменились сторожа. Двор опустел.

Доба все еще стояла у окна. Небо стало синеть. Дорогу уже поглотила тьма. Привыкшие к темноте глаза Добы различали темный силуэт сторожа у амбара.

— Они думают, что сторожат свое, а они сторожат мое! Болячка им... — проговорила Доба и прикрыла ставень.

4

А в это время там, где вербы склонились над водой, сидели Исосхор и Дворця.

Под ногами у них был сбитый из дощечек мостик. Одна дощечка сломалась посредине и упала в воду. В узкую щель гляделась луна.

Дворця пыталась выдернуть руку из цепких пальцев Исосхора.

— Ну как, Дворця, помиримся? А? — Исосхор улыбался. У него был вид человека, который хочет сообщить необычную новость.

Дворця не шевельнулась.

— Ну, хватит! Посмотри хоть на меня...

Она подняла свое продолговатое загорелое лицо с зелеными, чуть навывкате глазами. Глаза под тонкими нахмуренными бровями были сейчас сердитые. Но все же в них то и дело, словно рыбка в прозрачной воде, мелькала озорная усмешка.

— Улыбнешься ты мне сегодня? — спросил Исосхор.

Она не выдержала. Уголки рта раздвинулись сами собой, обнажив два ряда ровных зубов.

— Вот так ты — славная девушка! — сказал он и обнял ее.

Дворця теребила бахрому платка на коленях и словно не замечала руки Исосхора на своем плече.

— Что-то мне не по душе, Исосхор...

— Что? — тихо рассмеялся он.

— С этим золотом... Когда речь заходит о золоте, ты кажешься вроде твоей матери... Не знаю, что-то не нравится мне...

— Чего же ты хочешь?

Она взглянула на него.

— Не люблю я, когда ты прикидываешься...

— А я не люблю, когда ты говоришь мне я не знаю что...

— Ну, может, я и сама не знаю... Это золото... Не нравится мне это... Уж я тебе говорила...

— Это все?

— Да, Исосхор. Сколько я ни думаю, мне кажется, надо было бы его отдать... Ну, ты понимаешь, кто я такая? Вот скажи...

— Ты — красивая девушка, Дворця. Мне бы такую на всю жизнь...

— Не морочь голову! Я не об этом... А кто твоя мать?

— Злая индюшка! Такую бы жизнь моим врагам...

— А ты кто такой?

— Красивый, славный парень! Дай нам бог обоим такую жизнь, Дворця!

— Нет, не то. Я в колхозе ударница, бригадир...

— Будешь меня агитировать?

— Я хочу понять...

— А я уже понял, Дворця... Тебе нужен не я, тебе нужно золото...

— Мне?!

— Все равно... Если ты так говоришь, значит не любишь... Что ж, как хочешь... Есть еще девушки...

Она подняла голову и тихо проговорила:

— Я тебя люблю. Но я хочу, чтобы ты был... такой, как есть, но только немножко другой...

Она заглянула в его глаза. Она знала: всегда дикие, грубо насмешливые, они становились покорными и нежными, когда он глядел на нее; они словно удивлялись соб-

ственной покорности и нежности. Она положила руку к нему на плечо. И он тут же прижал ее к себе с невероятной силой.

— Дворця!

— Что?

— Покончено с этим, Дворця!

— С чем?

— У старухи нет больше золота...

— Как это так?

— Но ведь ты так хотела?

— Так я не хотела, Исосхор...

— Не все ли тебе равно? Лишь бы все было хорошо.

— Для этого ты ездил в город?

— Да, Дворця. Я нарочно тебе заранее не говорил. Хотел тебя сразу обрадовать...

— Но ты отнес его, куда я говорила?

— Послушай, сейчас расскажу, как это было. Прихожу и говорю им: «Нате вам золото!» Они на меня смотрят, а я продолжаю: «Берите все, что лежит под индюком и под потолком. Никому пользы от него не было. Сам-то я, пожалуй, этого бы не сделал, — так я им сказал, — но этого хотела Дворця. «Какая такая Дворця?!» «Дворця, говорю, ударница, бригадир. Дворця мне дороже золота...»

— Так и сказал? — разразилась она смехом.

— Так я хотел сказать, Дворця... Слушай дальше... Самое интересное дальше. Я зашел в «Торгсин», это тут же, рядом с вокзалом. Встретил одного человека в очках, такого солидного. Разговорились о том, о сем...

— Ну?

— Словом, что тут долго говорить, Дворця! Нам сейчас на всех наплевать, Дворця...

— Что-то ты болтаешь...

— Дворця, уедем отсюда вдвоем, купим себе квартиру.

— А какой болван тебе сказал, что я хочу уехать отсюда да еще с тобой?

— Если я так хочу, то и ты хочешь, и конечно!

— Я хочу знать: ты не отдал золото?

— Говорю же я тебе...

— Ну?

— Тот что в очках...

— Кто это такой?

— Думаешь, жулик? Наоборот, очень порядочный человек. Думаешь, он меня обманул? Исосхора не обманешь! Может, я его еще обдурил... Смотри!..

Он вытащил пачку денег и помахал ею перед ее глазами.

— У меня еще есть!

Он бросил пачку ей на колени. Дворця вздрогнула. Она скинула деньги на мостик, вскочила с места, побежала. Через минуту ее уже не было видно. Исосхор начал собирать с земли деньги, совать их в карманы. Две бумажки упали в воду. Он засучил рукава, лег на мостик и долго искал их в темноте под склоненными вербами.

5

Исосхора и след простыл. Он словно в воду канул...

Впервые за много лет Доба надела зеленую с толстой бахромой шаль. Добавочными засовами заперла ставни изнутри, залезла под печку, достала из кучи хлама два ржавых замка. Третий замок со связкой длинных ключей висел на кухне на гвозде, белом от присохшей известки. Ржавые длинные ключи, казалось, хранили память о мануфактурной лавке, о богатом бакалейном магазине, о просторном заезжем дворе с полутемными комнатухами.

Доба со связкой ключей и с замками в руках остановилась на минутку в сенях перед клеткой, проворчала:

— Скоро подойдет. Толку от него, — и вышла.

Несколько раз она осмотрела снаружи ставни, замки, взглянула на дикую яблоню, как бы стараясь ее запомнить, и, опираясь на палку, отправилась в деревню, к Дворце — узнать, куда девался Исосхор.

Но Дворца работала в поле. От ее матери Доба узнала, что дочь поссориалась с Исосхором.

— Разве вы ничего не слыхали? — сказала старуха, с удивлением глядя на Добу. — Все об этом говорят. Никто не знает, откуда у него взялись такие деньги. Ведь он уже третью неделю гуляет в городе...

Но Доба уже не слушала. Она бежала, низко наклонив голову, чтобы никто ее не остановил, не задержал, бежала домой. У околицы навстречу выбежала ватага босых ребятишек. Они кричали, строили рожи:

— Доба тощая! Тощая Доба!

Доба нагнулась, подняла камень, швырнула его в ребят, побежала дальше. Юбка то вздувалась, то колотила ее по ногам. Вот и дом. Ржавые ключи визжали, не поворачивались. Наконец она в сенях. В клетке дремал индюк. Здесь все было в порядке.

Доба вошла в комнату, посмотрела на крюк на потолке и чуть не лишилась чувств. Глина вокруг крюка осыпалась, видно, уже давно... Она взобралась на стол и стала ковырять ножом потолок. Сухая глина падала на плечи, на ноги, она не замечала... Вот и то отверстие, но оно было пусто! Доба дико закричала. Выпавший из рук нож воткнулся острием в стол. Доба сорвала с головы шаль, платок, чепец, с рассыпавшимися волосами бросилась в сени, вырвала из засохшей грязи клетку с индюком и отшвырнула ее в сторону, а сама, упав на колени, стала ногтями разрывать и разбрасывать во все стороны грязную землю. Докопалась до ямки, но и она была пустая... До-

ба вспомнила, как в ту ночь индюк кричал не своим голосом, — сразу же после этого уехал Исосхор...

Она упала без чувств головой в грязь.

Очнувшись, Доба увидела индюка. Он направлялся к двери. Видимо, когда отшвырнула клетку, вылетели две дощечки, и индюк вышел на свободу. Доба приподнялась и ухватила его за потрепанный хвост. Но индюк, почуяв свободу, уперся. Доба очень ослабела. Он вырывался у нее из рук и тащил ее во двор. Там она наконец выпустила индюка. В щели забора она вдруг увидела детские глаза — видно, дети бежали за ней до самого дома.

— Чего смотрите, а? Вы все еще раньше Добы подохнете... все!

Глаза тут же исчезли.

Доба стояла одна во дворе, под дикой яблоней. Индюк, увидев, что о нем забыли, улегся на пороге и прикрыл глаза.

6

Доба шла медленно, тихо. Только подол юбки шуршал по земле, и шорох этот был не громче шороха листьев в рощице, мимо которой она шла. Подвязанные опорки шлепали по земле. Одной рукой Доба придерживала шаль под подбородком, в другой руке у нее была палка. Небо обложили низко нависшие тучи. Лишь кое-где в разрывах блестели далекие холодные звезды.

Доба подошла к амбару. Он, как и все вокруг, был погружен в сон. Возле него, как дремлющий сторож, чуть-чуть покачивалась акация.

Доба передвигалась вдоль стены, держась за нее руками, то и дело припадая к ней всем телом. Сонная ворона слетела с ветки. Ветка долго качалась, потом опять все стало тихо. Доба нащупала лестницу, взмахнула руками и наткнулась на перекладыны...

Не прошло и минуты, как она была наверху. Там она нашарила отставшую доску. Комок подкатил к горлу, она еле удержалась на лестнице. Собрав последние силы, Доба пролезла на чердак. Она почувствовала запах сушившихся здесь когда-то табачных листьев, конских шкур и дыма. Что-то крошилось и осыпалось под ногами. Согнувшись, Доба ползла вперед на четвереньках, шарила руками. Юбка задела за что-то острое и разорвалась. Доба из всех сил закусила губу. Достала спички. Огонек вздрогнул, заколебался, но все же разгорелся синева-красным острым язычком. Теперь Доба видела справа печную трубу, над головой были протянуты веревки. Она подобрала и зажгла длинную щепку, подошла к трубе и опустила на колени. Снова к горлу подкатил комок. Искривленными пальцами она разрыла набросанные здесь кукурузные початки, стебли, щепки, сгнившие листья. Нет, это не то. Надо по ту сторону трубы... Но и там нет. С ума, что ли, сошла? Вон здесь, в углу... Как раз на этой веревке сушилась тогда шкура... Доба стояла неподвижно. Щепка все еще горела. Пробежала мышь, — внизу, наверное, хранился хлеб... Доба разрыла мусор и добралась до ямки.

Здесь!

Она опустила в ямку дрожащие пальцы, пошарила и вдруг нащупала чулок, в котором было спрятано золото... Вот оно! Битком набито!.. Она вытащила руку, в другой держала горевшую щепку... На ладони у нее лежаладох-лая крыса с отъеденной головой...

«Зайвелева работа... — мелькнуло у нее в голове. — Родной брат... Кроме Зайвля ни одна живая душа не знала об этом...»

Горевшая щепка выпала из рук на сухие стебли и листья. Доба лишилась чувств.

Тревожно звонили колокола на колхозном дворе. Далекое зарево вздымалось вверх над домами и огородами, доходило до леса, выхватывало из темноты белые стволы берез. Перепуганная белка прыгала с одной вершины на другую, кричали ослепшие совы.

В ярко освещенном небе, отчаянно каркая, носились стаи ворон, собаки выли в подворотнях, бегали с красными глазами, высунув языки, деловито помахивая хвостами. Слепой старик стоял в луже посреди улицы, ярко освещенной пламенем пожара. Он топтался на одном месте, тыкая палкой, вертел головой во все стороны:

— Где горит?

— Хлеб горит!

— Амбар! — хрипло кричал колхозник, бегавший от дома к дому и будивший крестьян.

Отворялись двери, выбегали полураздетые люди с вилами и топорами, с лопатами, с ведрами.

— Кто мог поджечь?

— Раздумывать некогда!

— Наш хлеб горит! Наше золото!.. — кричал рослый, широкоплечий парень с растрепанными волосами, указывая на амбар.

— Золото... Труд наш горит!..

— Наш хлеб!

Знали одно: надо снять крышу, куда огонь не пошел вниз. Надо спасти хлеб в амбаре. Во дворе было полно народу. Ржали наспех запряженные лошади, мычали телята, визжали свиньи, огонь трещал, стрелял искрами, гремели подъезжавшие и отъезжавшие подводы с бочками воды.

На одной из них промчалась Дворца, энергично нахлестывая лошадей. Наверху, в пламени и клубах дыма, колхозники с топорами в руках боролись с пожаром.

Вдруг пламя охватило старую акацию. Она раскачивалась, словно желая увернуться от огня, ветви ее почернели. Огонь захватил гнездо, из которого высунулись два голошеих птенца. Писка их не было слышно, видно было только, как они быстро и широко раскрывают клювики. Вокруг гнезда в отчаянии вились самец и самка. Огонь как бы поднимал их кверху на горячих волнах. Вдруг одна из птиц ринулась вниз, за ней — другая, обе скрылись в дыму. Через минуту они вылетели из пламени, держа в клювах птенчика.

— Воду подавайте! — кричали колхозники на крыше.

— Лестницы!

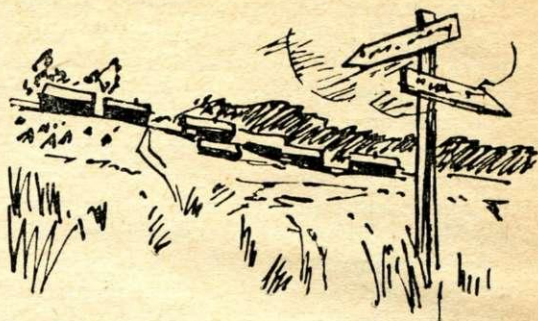
— Потолок обмазанный! Выдержит!

Широкие струи воды беспрестанно били из брезентовых рукавов. Ведро и ушаты переходили из рук в руки, выплескивались одно за другим. Бочки подъезжали и отъезжали. Раскаленными топорами люди разбивали крышу.

Когда крышу разобрали — потолок остался цел, зерно почти не было повреждено, — возле развалившейся печной трубы нашли обгоревшее, залитое водой тело женщины. Неподалеку от тела валялась тлеющая крыса...

1934.





ПОД РАДУГОЙ

Два поселка находятся недалеко один от другого, два колхоза соседствуют друг с другом. От одного до другого всего несколько верст. Их разделяют высокие холмы, глубокие балки и поля. Поля зеленеют мягкими колосьями, колосья зреют, наливаются на жарком июльском солнце. Один поселок старый, давно заселенный. Высокие деревья загораживают дома, шумят, рассказывают о давно минувших годах. Второй поселок новый, переселенческий. Небольшие домики под темно-красными железными крышами тянутся длинным порядком, и лишь кое-где зеленеют возле них молоденькие вишни. Их посадили, когда переехали сюда, всего несколько лет назад...

За месяц до уборки урожая оба колхоза решили соревноваться — кто первый закончит уборку, кто первый получит квитанцию с элеватора. Началась подготовка. Но как назло полили упорные дожди. Правда, скоро наступили погожие солнечные дни, и хлеба пошли в рост. Все

бледнее становились зеленые краски, все гуще становилось золото. Пора бы начать уборку.

В старом поселке соревнованием руководила секретарь комсомольской ячейки, загорелая синеглазая девушка. В новом поселке — бригадир трактористов, смуглый бело-зубый паренек.

Ее звали Фаня.

Его — Мишка.

Они совсем неплохо относились друг к другу. Оба были молоды, полны сил и жили на расстоянии каких-нибудь пяти—шести верст. Пожалуй, можно было считать, что они друг друга любили.

У нее в колхозе подготовились к уборке как нельзя лучше. У него в колхозе — не хуже того.

Она думала: если новый поселок получит квитанцию первый, она с ним, с Мишкой, поссорится.

Он, в свою очередь, думал: если старый поселок получит квитанцию первый, он с ней, с Фаней, разругается.

Каждый день они бывали друг у друга: Мишка у Фани, а Фаня у Мишки. Только в первый день уборки — так они уговорились — они не увидятся. Каждый будет у себя в колхозе со своей бригадой.

И вот наступил этот день. И вдруг, несмотря на уговор, Мишка решил пройтись в старый поселок и договориться, чтобы оба колхоза вместе вывезли первый обоз с хлебом. «И в самом деле, — думал он, — ведь оба они подготовились одинаково».

А накануне та же самая мысль пришла в голову и Фане. И чуть рассвело, она отправилась в новый поселок.

Идти можно было разными дорогами — либо через ячмени, либо через хутор. Фаня пошла через ячмени, Мишка — через хутор.

Стояла жара. Большие белые облака толпились на небе, но дождем не грозили.

Фаня была в белом платье. На высохшую после дождя дорогу падала от нее длинная тень. По обе стороны застыли в предутреннем молчании колосья. Вдруг под внезапным дуновением ветра какой-нибудь колос, легко шурша, заигрывал с соседом, и тут же оба стихали, обнявшись длинными желтыми остями. Фаня шла босиком, темно-бронзовые ноги ее блестели от росы. Она думала: «Вот хорошо будет, если мы оба сегодня снимем ячмень, завтра его обмолотим и под одним красным знаменем вывезем на элеватор — оба будем первые во всем районе...»

Внезапно стемнело. Низко над землей повисла неизвестно откуда взявшаяся темная туча. От невинных пухлых облаков не осталось и следа. Только вдали виднелась узкая яркая полоска. Но и ее заслонил холмик, поросший высокими, качающимися на ветру колосьями.

Дорога спустилась в балку. Упали первые тяжелые капли дождя, оставляя следы на белом Фанином платье. Налетел прохладный ветерок, зашелестел испуганно колосьями. Из-под ног выскользнули две ящерицы и тут же исчезли. Темную тучу над головой рассекло молнией, и гром расколол небо. Начался ливень, и Фаня мигом промокла в своем тонком платьице. Согнувшись, она пустилась бежать. От дождя захватывало дыхание, навстречу хлестали, перекатываясь через колосья, водяные потоки. Она на миг повернулась к ним спиной, чтобы перевести дух, ветер закружил ее, застегал дождем по спине. Из последних сил бежала она по дороге. Ноги, забрызганные грязью, то и дело подгибались, оставляя расплывшиеся на размытой дождем земле следы, которые тотчас же заливало водой. Промелькнула насквозь промокшая птичка, обиженно пискнула и упала в мокрый ячмень. Поодаль виднелся табун лошадей, еще дальше — коровье стадо. Лошадки казались маленькими, скучными, коровы стояли, понуро опустив головы...

И вдруг в южной части неба появилась синева. На небе вспыхнула далекая радуга. Огромной сверкающей дугой она обняла всю землю. Фаня остановилась, не веря глазам.

Точно в радужном сиянии увидела она, как убирают хлеб бригады нового поселка... По бокам проворной косилки трепетали широкие крылья, взлетали срезанные колосья. За ними едва можно было разглядеть людей. Лошади торопливо переступали ногами. В густом синем дыму чернел трактор, гудевший на всю округу. Бригады растянулись далеко по степи, теряясь в ячменях. Едва виднелась вдали еще одна косилка со своими людьми, синел дымок второго трактора.

Фаню охватила досада. Но вдруг она подумала:

«А может быть и в нашем поселке солнце и радуга, и люди тоже работают?»

От этой мысли ей стало хорошо и весело. Она тут же повернула обратно, в старый поселок. Она легко бежала, освещенная освободившимся от туч солнцем. Короткая тень неслась за ней по лужам. Промокшее платье плотно облегло тело.

В полуверсте от поселка на склоне холма, заросшего высокой рожью, она вдруг наткнулась на Мишку. Глаза его радостно сверкнули. Прозрачные капли стекали по его лицу. В руках он держал башмаки.

— Куда бежишь, Фаня? — изумленно воскликнул он и добавил, понизив голос: — Ты же мокрая, как рыбка, Фаня!

Промокшие штаны у него были закатаны выше колен, козырек фуражки надвинут на глаза.

— А ты куда? — воскликнула она.

— От тебя... Ух, какая ты мокрая, Фаня...

— А у нас тоже был дождь? — перебила она его.

— Да еще какой! — ответил он. — Видишь, как я промок? Меня от самого твоего поселка поливает...

И продолжал:

— Пропал, Фаня, наш первый день. Я шел, — заговорил он смущенно, — чтобы сказать... Шел к тебе... Чтоб мы... значит...

Он умолк, но, собравшись с духом, выпалил:

— Чтобы выехать вместе... Мы же подготовились одинаково. Скажешь — нет?

Он выжидательно глядел на нее. Она не отвечала. Опустив глаза, она крепко прикусила губу. Очень уж досадно было сказать ему, что его бригады работают в поле...

Она взглянула на него. Он стоял с опущенной головой и ощипывал мокрый колосок.

— Твои работают. У тебя не было дождя, — наконец проговорила она.

— Ну да! Не может быть!

— Идем, покажу.

Радуга уже сияла над степью всеми семью цветами. Мишка на бегу обнял мокрые плечи Фани, ботинки закинул за спину, высоко подняв голову. Он все еще не мог поверить.

И вдруг он увидел: маленькие фигуры людей двигались по полю, и были там маленькие лошади и коровы, и, как игрушечный — трактор. И все это залито ровным солнечным светом, охвачено радугой.

— Вижу! Вижу! — воскликнул он.

Она была ниже его и еще не видела. Он быстро схватил ее, совершенно мокрую, под мышки и поднял на руках, прижимая к себе. Потом опустил ее и, пока она не успела коснуться земли, крепко поцеловал.

— Стало быть, первая квитанция будет все-таки моя! — сказал он.

— Какой противный дождь! — тихо промолвила она.

— Какой чудесный дождь! — громко и радостно воскликнул он и крепко обнял ее.

Радуга все светлее сияла на небе, поднимаясь все выше над юношей и девушкой, над степью и над людьми, утонувшими в золоте полей.

1934.





СЫЗНОВА

Семь дней в ярком пламени утренней зари всходило солнце. Сейчас оно медленно опускается за голубоватую полосу дальней рощи. В этот тихий вечерний час воздух полон настоявшейся синевы. Леса и перелески то приникают к самому вагонному стеклу, то убегают в сторону. Проносятся мимо окон селения. Иногда промелькнет речка и затеряется в набегающих кустах. Внушительно грохочут железнодорожные мосты. В немолчный говор вагонных колес вдруг врывается короткий озорной свисток и тут же тает в бескрайних просторах.

Кеслер, высокий, плотный человек с седеющей шевелюрой, опирается на раму приоткрытого окна. Ветер треплет его волосы, то и дело хлопает серебристыми прядями по широкому лбу и глазам в мелких морщинах. Между пальцами дымится папироса. В полуоткрытых купе, в которых едут из Крыма пионеры, беспрестанно поют песни.

Вот уже несколько месяцев американец Кеслер раз-

езжает по Советскому Союзу с ощущением человека, который никак не может понять, кто кого обманул. Приехал он из Америки с намерением чему-то здесь научиться, но вот уже несколько месяцев он разъезжает и не решается подвести итоги.

Кеслер уехал в Америку за несколько лет до мировой войны. Там на одном из предприятий он встретил милую девушку Дженни. Он излил перед нею душу и показал пару тетрадок, исписанных еще в России. Там их не печатали. Девушке понравились и Кеслер, и его тетради. И все написанное в этих тетрадках приобрело тогда ответ тихих серых глаз Дженни, ласковость ее рабочих рук. Дженни захотелось, чтобы он писал, писал как можно больше. Она заставила его бросить фабрику. Сама она неплохо зарабатывала, детей у них не было, а со временем она стала первоклассной закройщицей в большом магазине на одной из авеню.

У Кеслера появились манеры человека, которому некуда спешить. Он не торопился печататься, не искал встреч с редакторами. Он приходил в кафе «Рояль» или «Юроп», где собирались писатели, но и там не любил говорить о своей работе. Его хлеб насущный от этого не зависел. В Америке это явление очень редкое. Поэтому на него стали смотреть, как на человека, пользующегося особым положением. И у самого Кеслера постепенно сложилось о себе мнение как о человеке не совсем обыкновенном. Он стал держаться еще увереннее.

Кроме писателей, его окружали друзья Дженни, ее жизнь, ее интересы. Дженни создала ему уютный домашний очаг и, главное, атмосферу почтительного отношения к его писательской работе. Дженни была счастлива: она, его жена, первая открыла его талант.

Но после того, как весть об Октябрьской революции дошла до рабочих Америки, у Дженни появились новые

друзья, они часто приходили к ней и в отношении ее мужа вели себя так, будто он и не был крупным писателем. Впрочем, он понимал это так: они — люди трудовые, занятые забастовками, жизнь у них невеселая, им не до писателей.

Так прошло немало лет. Но вот настало время единого народного фронта. Дженни, никогда не интересовавшаяся отношением мужа к политике, вдруг начала таскать его на собрания и митинги. Оказалось, что большинство рабочих относится чрезвычайно холодно ко всему, что пишет Кеслер. Это его задело. И больше всего задело то, что Дженни, как ему казалось, становится равнодушной к его работе. Не закрадывается ли у нее мысль, что она зря связала с ним свою жизнь? Вообще, что все это значит? Сколько лет он был писателем для всех, и вдруг оказалось, что есть люди, которым нужны другие писатели, другие сюжеты, другие темы... Откуда взялись эти люди? Откуда у них такие требования? Неужели все это идет отсюда, из Советской России? В таком случае надо посмотреть на эту страну, на ее людей. Как полагает Дженни? Дженни уже давно мечтает об этом! Со всем энтузиазмом прошлых лет она собирала его в дорогу...

И вот уже несколько месяцев он разъезжает по городам и стройкам Советского Союза. Он чувствует себя, как во времена банкротства, но он все еще не знает, кто обанкротился.

На зеленовато-голубом фоне мелькают сосны.

— Это не сосны, это пихты, правда? — услышал Кеслер рядом женский голос.

Сбоку, у окна, стояла высокая женщина с копной черных волос, жена командира, едущего с ним в одном купе.

— Да, — ответил Кеслер, — пихты...

И только тогда он заметил, что женщина обратилась не к нему, а к своему мужу.

Он вдруг почувствовал себя одиноким, стало тоскливо. Может быть, ему вообще не следовало ехать сюда? Там, в Америке, все же были люди, которые читали его книги и уважали его, хотя Дженни и относил их к мелкой буржуазии.

Ему казалось, что сразу же по приезде он напишет значительное, правдивое произведение об этой стране. Он несколько раз принимался за перо, но каждый раз приходил к выводу, что все, что он напишет, будет интересно только тем, кого Дженни относит к мелкой буржуазии, а не ее друзьям — рабочим, и тем более не русским. Что он знает о них?

Вот едет с ним в одном купе командир, с которым он разговаривает каждый день. Этот человек столько видел и пережил: был партизаном, потом строителем, сейчас — опять командир. Что же он, Кеслер, может рассказать ему о его жизни? Или взять сорокалетнего инженера из соседнего купе, который едет строить мосты. Казалось бы, обыкновенный человек. А ведь у него богатейший опыт, он бывал в командировках в Германии, Англии и Америке, прекрасно знает свое дело, а в детстве был где-то в этих местах пастухом. Он знает классическую литературу, влюблен в Пушкина. Даже пионеры, которые едут в этом вагоне, кажется Кеслеру, не такие, как дети других стран. Кеслер писал и для детей. Но что он мог бы рассказать этим детям об их жизни и об их стране?

На повороте поезд выгнулся дугой, показывая закутанный дымом паровоз. У открытых окон стояли пассажиры. Подъезжали к станции. В вагоне был полумрак, света еще не зажигали. Следя за людьми, которых он, казалось, изучил за семь суток, проведенных в поезде, Кеслер представил себе, что читает им кое-что из своих сочинений. Что же могло бы их заинтересовать? Он писал об американцах среднего достатка, о еврейских полуинтеллигент-

тах, которые ведут в Нью-Йорке холостяцкий образ жизни и собирают коллекции галстуков, о женщинах второй молодости, о своих путешествиях по другим странам... Но что до всего этого его нынешним спутникам?

— Ну-с, гражданин американский писатель, попрощаемся! — услышал Кеслер и обернулся. В кожаном пальто, с чемоданом в руке стоял инженер. Его глаза смотрели с насмешливым сочувствием.

— Вот здесь, неподалеку отсюда, я буду строить мосты.

Инженер посмотрел на носки своих ботинок, подумал немного, потом снова взглянул на американца и добавил:

— Построить в нашей стране хороший мост — все равно, что помолодеть. Не правда ли, это прекрасное дело?

И, больше не оглядываясь, пошел к выходу. Поезд задержался на одну минуту, оставил несколько человек на этой заброшенной станции и отправился дальше. В сумерках уже трудно различались окутанные туманом луга, контуры тайги. На фоне синего неба вырисовывались сопки. В вагоне пассажиры пили чай за освещенными настольной лампой столиками. Кеслер все еще стоял у окна и никак не мог представить себе черты лица инженера, с которым только что попрощался, запомнил лишь сочувственный взгляд его глаз.

Поезд несся меж гор, вдоль берегов большой реки.

2

Перебирая близких людей и знакомых, Кеслер остановился на друге детства Эле Гринберге, который работал в Биробиджане.

В 1928 году, когда в Биробиджан стали съезжаться первые переселенцы, Эля Гринберг написал Кеслеру, что тоже едет туда, едет с женой и четырехлетней дочуркой.

К Эле Гринбергу и ехал Кеслер.

Кеслер отошел от окна и вошел в свое купе. Оба его попутчика, командир и краснофлотец, сидели, склонившись над шахматной доской. Жена командира уже лежала, завернувшись в одеяло, и следила за игрой.

Перевес, видимо, был на стороне краснофлотца. Во всяком случае он весело проговорил, оторвавшись от шахматной доски:

— Ну, как? Скоро Биробиджан?

Тогда и командир поднял глаза на Кеслера.

— Вот увидите, — сказал он, тоже весело, очевидно, забыв, что его «белые» оказались в трудном положении. — Прямо-таки город вырос...

— Да! — отозвалась жена командира. — Я помню, всего несколько лет назад, когда мы здесь проезжали, было скучновато. Лишь кое-где освещенное окно да одинокий деревянный вокзальчик...

Теперь в окне вагона мелькали огоньки, приближались, их становилось все больше.

3

На дверях квартиры Гринберга висел большой замок. От этой закрытой двери на Кеслера повеяло отчуждением, холодным равнодушием, как если бы кто-то спросил: «Чего ищешь? Что ты здесь оставил?»

Моросил дождь.

Чтобы избавиться от этого ощущения, Кеслер постоял еще немного, потом нарочно медленно пошел прочь. Он шел по улице. Вокруг высились стройки. Люди взбирались на верхние этажи по лесам, копошились в глиняных ямах, укладывали фундаменты, возводили стены, крыли крыши, выравнивали, чинили мостовую, прокладывали деревянные тротуары. В центре города возвышался новый красивый вокзал. Эскаваторов Кеслер не увидел, башенные краны

не простирали своих стрел над стенами домов. Небоскребов тоже не было, а весь разбросанный город выглядел как сплошной строительный лагерь.

Кеслер зашел в школу. Он застал здесь только учителей — учебный год должен был начаться через несколько дней. Узнав, что он американский писатель, несколько учителей предложило ему пожить у них до приезда Эли Гринберга. Он согласился.

Первое время дожди не прекращались. Блекли краски. Гринберг с женой все не возвращались. Целыми днями Кеслер гулял по городу. По ту сторону реки он видел окутанные туманом сопки.

Потом дожди прекратились. Ясными вечерами огромный оранжевый диск солнца бросал какие-то необыкновенные розово-лиловые лучи на реку, задерживаясь на голубых вершинах.

Сопки с ярко-фиолетовыми краями постепенно погружались в вечерний сумрак.

Проходя мимо дома, где жил Гринберг, Кеслер поглядывал на двери его квартиры.

В один из таких дней Кеслер увидел на ступеньках крыльца девочку лет двенадцати—тринадцати. Ему показалось, что эту девочку он несколько раз встречал на закате на мосту через Биру. Насколько ему помнится, она сидела на приступочке и рисовала.

Неужели это дочь Гринберга? Вечером Кеслер нарочно еще раз пришел на мост, широко раскинувшийся над рекой. Девочка, как всегда, была там. Она сидела и рисовала.

Кеслер тихо подошел к ней сзади и взглянул на полотно. На нем были сопки, похожие на верблюдов на коленях, освещенные закатом. Словно почувствовав на себе чей-то взгляд, она отняла кисть от картины и обернулась. С минуту они молча смотрели друг на друга.

— Эскьюз ми, — произнес он по привычке, но тут же спохватился. — Это не ты сидела сегодня у дверей, где живут Гринберги? Ты им кем-нибудь приходишься?

— Да, — довольно холодно ответила девочка. — Я Фира Гринберг. А что такое?

Она сказала это совсем как взрослая. Зато Кеслер почувствовал себя очень неловко, когда ответил:

— Я друг твоего отца. Меня зовут Кеслер. Я и приехал к твоему отцу.

Так как она молчала, он добавил:

— От отца ты никогда не слыхала моего имени? Кеслер, еврейский писатель из Америки...

— Нет, — ответила девочка, — никогда не слыхала.

Она минуту подумала, и только тогда на ее продолговатом личике появилось действительно детское выражение. Она пожала плечами и сказала:

— Наверно, папа забыл...

Солнце зашло. От поблекшей воды, от побледневшего неба потянуло прохладой. Из-за сопok выглянул молодой месяц. По реке протянулись серебристые дорожки.

— Ну что ж, пойдемте, — как старому знакомому сказала девочка. — Могу вам дать ключ.

Шагая с ним рядом, Фира рассказала, что отец и мать на курорте, что они уже едут обратно — прислали телеграмму с дороги. А она, Фира, пока нет родителей, живет у подруги.

— А вы живете у одного учителя из нашей школы, — неожиданно добавила Фира. — Я несколько раз видела, как вы шли туда.

4

Через два дня Фира зашла к учителю, у которого жил Кеслер, и сообщила, что родители ее приехали. Они попросили прийти к ним вечером, когда вернутся с работы.

Часов в восемь вечера Кеслер пришел к Гринбергам. У них была большая чистая комната с занавесками на окнах и портьерами на дверях. На столе — свежая голубая скатерть, на которой еще видны сгибы от утюга. За столом, освещенным электрической лампой, сидела со своим альбомом Фира. Рядом с ней стояла мать, Фаня Гринберг, и просматривала рисунки, сделанные дочерью за время их отсутствия.

Когда Кеслер вошел, обе повернулись к нему. Они старались делать все, что полагается в таких случаях: пригласили снять пальто, присесть, но он подумал, что они делали это исключительно из вежливости.

— Эля сейчас придет, — сказала Фаня и продолжала рассматривать альбом.

Может быть, оттого, что к Фире Кеслер уже успел привыкнуть, лицо матери, на которую Фира была похожа, показалось ему знакомым. В чертах обеих была строгость, сдержанность и привлекательность.

Сидя на диване, Кеслер заметил, что они все время быстро переводят взгляд с альбома на него. Он пригляделся и увидел, что Фира скупыми штрихами успела нарисовать его профиль.

— Олл райт! — произнес он. — Но почему с трубкой во рту, ведь я курю сигары?

— Все равно, — заметила Фира. — Вы — американец, вы должны держать трубку во рту.

Фаня и Кеслер от души рассмеялись, и этот смех, который их обоих немного сблизил, очень обидел Фиру.

— И вовсе нечего смеяться, — сказала она, — я видела здесь многих американцев. Без трубки у них рот какой-то кривой.

— Но с трубкой, — улыбаясь, ответил Кеслер, — рот ведь тоже кривой!

— Да, — сказала Фира, — но тогда это из-за трубки...

— Ну, ты болтаешь глупости! — сказала мать. — Везде могут быть люди с такими ртами... А у товарища Кеслера как раз рот не кривой.

По тому, как Фаня сказала «товарищ Кеслер», — он понял, что она и Эля уже говорили о нем.

Пришел с работы Эля. Это был высокий, смуглый человек с чуть выющимися волосами, с полными губами и улыбающимися глазами. Он был немного похож на араба.

Он долго смотрел на Кеслера, окинул взглядом его фигуру, лицо и седеющие волосы.

— Кеслер? — спросил он тихо.

В грудном его голосе было что-то приятное и в то же время сдержанное, как у человека, который не любит много говорить.

— Садись! — сказал он, поздоровавшись, а сам остался стоять, положив обе руки на высокую спинку стула. Он все еще не отрывал глаз от Кеслера, очевидно, находя в его лице знакомые черты молодого человека, с которым когда-то был в близких, товарищеских отношениях.

— Ну, что ты успел повидать у нас? — спросил он дружески.

Кеслер сразу оживился. За чаем говорили о Биробиджане, о том, что успел уже посмотреть Кеслер. К Фане Гринберг пришла молодая женщина. Из их разговора Кеслер понял, что Фаня — врач.

Потом Кеслер заговорил о природе края, о том, что борьба с природой, овладение ею всегда были одной из интереснейших тем в литературе.

На лице у Гринберга застыла улыбка. Он снова внимательно посмотрел на Кеслера, наморщил лоб и спросил:

— Ну, а как у вас, в Америке?.. То есть насчет литературы. Я оторвался, — объяснил он смущенно. — Было у вас несколько писателей, наиболее близких к нам. Помню,

что носились с Лейвиком, с другими... Где я был тогда? В Донбассе. А что он там сейчас делает, Лейвик? Все еще считается агентом Мессии в Нью-Йорке? Я кое-что читал из его сочинений... Он, кажется, здорово влюблен в свою персону?

Кеслер почувствовал себя неловко.

Женщина, приходившая к Фане, ушла. Вскоре Фира, вежливо попрощавшись с Кеслером, отправилась спать. Через несколько минут из комнаты послышался ее голос — она звала отца.

5

Кеслер прожил у Гринбергов недели две. Спать обычно ложились не поздно, вскоре после ужина. Однажды Кеслер уже разделся и лег, когда в комнату осторожно вошла Фаня.

— Можно? Вы, кажется, хотели посмотреть дневник Фиры? — сказала она.

Да, он действительно хотел.

— Ш-ш-ш! — предостерегающе подняла она палец. — Может быть, она еще не спит. Она не должна об этом знать...

Фаня дала ему дневник и вышла. Абажур оставлял в тени двери комнаты, ярко освещая постель Кеслера. Он закурил. В этом чужом городе, на этой белоснежной постели Кеслер чувствовал себя одиноким.

Облокотившись, он стал рассматривать дневник Фиры. Наряду с ее рисунками (дома в лесах, трактор на пароме, охотник) он увидел записи мыслей, рассказов отца о гражданской войне, всего, что она слышала о родной стране, о своей родине...

Кеслер читал:

«Напротив нас начали строить большой каменный дом.

Когда мы приехали сюда, на этом месте была вода. Через воду перекидывали доску, которая всегда раскачивалась, когда по ней шли. Однажды я поскользнулась, упала и чуть не захлебнулась. Меня вытащили всю мокрую. Иногда мы становились на какую-нибудь доску и плыли по ней, как на лодке. Теперь на этом месте я посадила садик. Две вишни и три акации, они хорошо принялись».

«...Отец тогда отступал с бронепоездом от Деникина, был ранен. И вдруг они получили известие, что в десяти верстах отсюда путь взорван. Штаб приказал взорвать бронепоезд, чтобы не достался врагам. Но тогда все сразу принялись за работу. Раненые тоже таскали к насыпи песок. Папа полз на коленях полуголый, край рубахи с песком придерживал зубами и так карабкался на насыпь... Люди падали без сил и снова поднимались. Через пять часов путь был восстановлен. Бронепоезд ушел дальше. А как только он ушел, несколько оставшихся человек снова взорвали линию — враги были уже близко. Боевой приказ — взорвать бронепоезд — на этот раз не был выполнен... О бронепоезде мне рассказывал папа перед сном».

«Сегодня с лесов свалилась балка и прямо ко мне в садик. Балка сломала мои вишенки и раздавила все мои цветы... Я плакала...»

«Отец поехал в командировку по области. У меня каникулы, и он взял меня с собой. Уже несколько дней, как мы едем. Не знаю, есть ли где-нибудь еще такие красивые места? Красиво вечером и ночью, когда луна. А на рассвете! Кругом высокие горы с острыми вершинами. Только что из-за горной вершины выглянуло солнце. И вся гора стала словно голубая, вершина — розоватая, а меж склонов, скрытых в тумане, пробилась яркие лучи... Поезд бежит над рекой. Вода в реке морщится и убегает. Потом вырастает гора. Страшно: вот-вот треснет скала, сорвутся каменные глыбы и завалят поезд, папу и меня. А вот меж

двух голых камней выглянул цветок на высокой ножке и несколько травинок. Откуда-то на камень нанесло немножко земли, и там выросла травка и этот цветок. Хотела показать папе, но поезд уже промчался мимо...»

«Мне хочется в своем альбоме зарисовать все, что у нас строится. Сегодня я долго стояла на углу Октябрьской улицы и зарисовывала новый вокзал. Я тогда вспомнила, как здесь целыми ночами жгли тайгу. Это тоже хорошо было бы зарисовать, но я тогда была еще совсем маленькая и плохо это запомнила...»

«Недавно к нам приехал папин друг из Америки — Кеслер. Говорит, что он писатель. По-моему, он очень странный человек. Я его нарисовала с кривым ртом и с трубкой в зубах, а он обиделся. Мама тоже сказала, что я не права. А я знаю, что у многих иностранцев такой рот, как будто им что-то здесь не нравится. Все они какие-то скучные. Вот и Кеслер такой же. Не понимаю, почему им у нас так скучно? Сегодня Кеслер сказал мне:

— Ты настоящая биробиджанка...

Потом подумал и добавил:

— Ты даже года на два старше Биробиджана...

Что он этим хотел сказать?»

Да, что он этим хотел сказать? Дневник все еще лежал раскрытый, но Кеслер больше не читал. Предвестниками наступающего утра в окно заглянули румяные вершины далеких гор.

«Можно ли еще что-нибудь вернуть?» — подумал Кеслер. В эту минуту он вдруг ясно почувствовал, что вся его жизнь, годы творчества расплываются, как папиросный дым, перед несколькими простыми и беспомощными строчками из этого детского дневника.

И еще почувствовал он в эту минуту: он обанкротился, остался в неоплатном долгу перед жизнью, потому что, видимо, начал ее скверно, фальшиво. Надо было начи-

нать так, как это сделал его товарищ детства, Эля Гринберг, если он не мог тогда начать так, как начинает она, Фира... Значит надо начинать сызнова...

Через несколько дней тот самый поезд, который привез Кеслера сюда, мчал его обратно на запад. Ясный солнечный день стоял над Биробиджаном. Синеватой дымкой были окутаны далекие горы. Кеслера проводила Фира. Эля и Фаня попрощались с ним утром, перед уходом на работу. Поезд тронулся с места. Кеслер махнул рукой. Ветер шевелил его седеющие волосы. Фира заметила, что глаза у него подернуты влагой.

Фира, вокзал, люди, город исчезли. Виднелись только дымящиеся трубы. А у Кеслера было неприятное ощущение, что едет он не вперед, а назад, назад...

Он ехал обратно в Америку, к Джени. Поезд проносился меж лесов и гор. В говор колес, как и две недели назад, врвался озорной свисток и таял в голубом просторе. Кеслер, как и тогда, стоял, опершись локтями на раму открытого окна, и курил. Сейчас он твердо знал, что предстоит ему делать дома...

Всю жизнь надо начинать сызнова.

1937.





ОБЩЕЕ ЗНАМЯ

Вся большая семья Берла Пружанского — от деда Эфраима с его белоснежной бородой до десятилетней Голды с ее черными косичками, торчащими, как будто они поссорились, в разные стороны, — собралась на этот раз в доме Берла для не совсем обычной работы: укладывали большую посылку. Посылка была уже почти готова. Не хватало только подарка Голды.

Пружанские давно не отправляли никому посылок — вся семья уже несколько лет жила в Биробиджане. А родственники, оставшиеся одни под Киевом, другие в Гомеле, в посылках не нуждались.

Но посылка, которую собирали сейчас, была особенная. В ней и нуждались и не нуждались те, кому она предназначалась, посылали ее родным и не родным...

Ведь это были дни, когда Красная Армия гнала врага от наших границ у озера Хасан.

Чего только не было в посылке! Каждый член семьи Пружанских посылал вещь, уверенный, что он один и больше никто в мире ее не посылал. О ней думали не одну ночь, потому что это должна была быть вещь, лучше которой и представить себе нельзя...

И только одна Голда, девочка с черными косичками и с большими черными глазами, готовая вот-вот расплакаться, бродила по дому, не зная, какой подарок будет лучше всех других подарков в мире.

Послать свою куклу? Но на что бойцу кукла? Купить что-нибудь, но что? Ведь уже нет ничего такого, чего бы не посылали ее старшие братья и сестры.

И вдруг девочка быстро выбежала из комнаты и через несколько минут вернулась раскрасневшаяся и счастливая.

Все с любопытством обернулись к ней и увидели у нее в руках кусок красной материи. Она ее аккуратно сложила и стала укладывать в ящик.

— Это зачем? — спросили ее старшие.

— Зачем? — переспросила девочка, но ничего не ответила. На свободном месте, оставшемся в большом письме, которое собирались вложить в посылку, она большими, круглыми и не совсем уверенными буквами ученицы, только что перешедшей в третий класс, написала:

«А я посылаю вам в подарок красную материю, чтобы вы из нее сделали знамя. А когда прогоните врага, поставьте это знамя на горе и берегите, чтоб никто его не тронул...»

Она обмакнула перо, минутку подержала его, наморщила лоб, почистила перо о край чернильницы, опять крепко задумалась и наконец старательно подписалась: «Голда».

Прошло несколько дней. Красная Армия отогнала врага от озера Хасан и окружающих его высот.

Из газет весь мир узнал об этом, узнала и семья Пружанских, в том числе и десятилетняя Голда.

А потом оказалось, что один из советских бойцов под градом пуль, рискуя жизнью, добрался до вершины сопки и водрузил на ней красное знамя. И знамя это, пробитое пулями, так и осталось на вершине.

Велика была в те дни общая радость. Но ничью радость нельзя было сравнить с радостью Голды.

Она побежала к учительнице, к товарищам и подругам и всем сообщила:

— Знаете? Слыхали уже? Там на горе красное знамя. И знаете, чье? Мое!

И она рассказывала о подарке, который послала воинам. А в газетах так и пишут, что советский воин сделал знамя из красной материи, которую ему прислали в посылке...

Но вечером Голда пришла домой хмурая, грустная и молча забилась в угол. На расспросы матери, что с ней, Голда ничего не отвечала.

— Но скажи мне, — не отставала мать, — где ты была?

— У Зямы, — пробормотала она.

— Ну и что же? Он опять тебя побил? Ведь я вижу, что ты чем-то расстроена.

Тут Голда не выдержала, расплакалась и с трудом проговорила:

— Нет, не побил... Но Зяма говорит, что знамя... Знамя там на горе... что оно вовсе его, Зямино... а не мое.

— Как это — его?

— Он говорит, что тоже послал красную материю, даже еще больше, чем я.

Мать успокоила девочку: Зяма просто врунишка и больше ничего.

— Правда, врунишка? — обрадовалась девочка.

Через минуту она убежала из дому сообщить об этом подружкам. Но что такое? Когда она начала рассказывать о знамени своей подруге Мире, оказалось, что та уже все знает. А когда Голда сказала, что знамя на горе ее, Мира просто расхохоталась ей в лицо. Потому что она, Мира, оказывается, тоже вложила красную материю, и не простую, а бархатную.

— Какое же знамя поставят на таком месте? — сказала Мира. — Ясно, бархатное...

В таком случае, чье же все-таки знамя поставил советский воин на той горе: ее, Голды, Зямы или Миры? И тут Голде пришла в голову мысль: спросить у деда. Он все знает. Как он скажет, так, значит, оно и есть.

Дед, как всегда в свободную минуту, читал газету. Увидев Голду, Зяму, Миру и других мальчиков и девочек, он снял очки, не спеша положил их на газету и, улыбаясь, стал разглаживать бороду.

Голда тут же рассказала дедушке, в чем дело.

Дедушка хитровато улыбнулся в свои густые усы.

— Ну, и как же вы думаете? Чей же это подарок?

— Мой! — крикнули разом Голда, Мира и Зяма.

— А может быть, это вовсе мой? — неожиданно спросил дед, выпустив из рук бороду.

— А разве и вы посылали в подарок материю? — удивились ребята.

— Так вот, — сказал дед, легонько щелкнув ребят по носам, — знамя, которое поставили там, на горе, и которое будет стоять там вечно, — не твое, Мира, и не твое, Зяма...

— А мое! — подпрыгнула от радости Голда.

— И не твое, Голда! — сказал дедушка.

— А чье же? Ваше?
— Нет, и не мое...
— Так чье же? — воскликнули ребята хором.
— Общее... Наше общее знамя! — ответил дед.
На том и порешили.

1938.



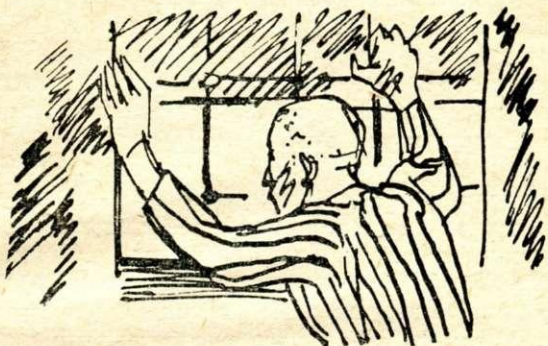
собой слетели замки с городской тюрьмы и точно сами собой легко распахнулись тюремные ворота, впервые после четырех лет заточения увидел он небо и землю. Все, что он пережил за эти мучительные годы, точно соединилось в этих трех днях, и сейчас эти дни снова ярко и отчетливо проходили перед ним.

В лихорадочной горячке, не помня себя, выбежал он три дня назад из тюрьмы. На одной из улиц в центре города он вдруг остановился — увидел себя в зеркальной витрине магазина. Запавшими, широко раскрытыми и полными отчаяния глазами глядело на него заросшее седой щетиной лицо. Впервые он увидел, что поседел. Он испугался самого себя и, все еще боясь, что его снова схватят и вернут в тюрьму, бросился бежать. Полы тюремного халата били его по исхудалым ногам, улицы кружились, опрокидывались крышами вниз; городской шум, от которого он отвык, совершенно ошеломил его.

В тюрьме он оставил четыре года жизни, здоровье и почти всю надежду на то, что жизнь еще будет когда-нибудь иметь для него цену. Вынес он оттуда серый халат, отбитые легкие и душевную боль человека, знающего, что ему не к кому постучаться в дверь...

Тот день вспоминается как в тумане: кричащие толпы на узких и длинных извилистых улицах, мешанина из праздничных черных сюртуков, перемазанных рабочих курток, потрепанных солдатских гимнастеров, крестьянских свитков, тюремных халатов и загорелых мальчишеских тел, едва прикрытых тряпьем, на уже голых ветках деревьев.

Никогда, кажется, не перестанет звучать в ушах «ура», — оно то замирает, уходит куда-то далеко-далеко, то вновь возвращается и гремит где-то рядом. Гудит земля, громяхают по улицам броневики, из люков выглядывают какие-то непохожие на всех пришельцы, принесшие с собою громовое эхо иного, неведомого мира... В глазах



ЗЕМЛЯ РОДНАЯ

Снова стоял он на этой земле. Его опьянял ее нежный и тонкий запах — сложное сочетание уже почти улетучившихся запахов прошедшего лета и все более ощутимых запахов близкой зимы, смесь, свойственная прохладным дням ясной, устоявшейся осени. Такой аромат различных времен года, должно быть, всегда имеет земля для человека, ступившего на нее после долгой разлуки, после того, как он был на грани жизни и смерти.

В этой осенней березовой роще, всего лишь несколько дней назад разделявшей два мира, а теперь соединившей их, Велвл Горенберг с особенной силой ощущал опьяняющий запах земли.

Три дня назад (а ему кажется — прошло три года, так насыщены они были событиями), когда в уездный город, лежащий в тридцати верстах от границы Польши с Россией, вошли советские танки, и от их грохота точно сами

пестрит от взлетающих в воздух белых и красных роз, от венков на головах у девушек, от развевающихся красных флагов на воротах, на крышах, на телеграфных столбах, в высоко поднятых жилистых руках. Всюду — солнце, и его глаза, привыкшие к сумраку, стали слезиться. Все дышало прохладным, освежающим воздухом, и с непривычки у него сильнее обычного заболела грудь. Он тоже что-то кричал вместе с другими и сам не слышал своего голоса... И вместе с криком сердце его рвалось навстречу танкам, грохочущим один за другим по мостовой, и вдруг, когда он вскрикнул слишком громко, сердце у него подкатилось к горлу, колени подогнулись. Он помнит только, что его подхватило несколько пар рук...

Очнувшись, он почувствовал острое зловоние, духоту. Перед ним было узкое мутное окно. Он изо всех сил рванулся к нему, но в ту же секунду кто-то сзади крепко схватил его за плечи. Он быстро вывернулся, готовый ударить с размаху по ненавистному, в грязно-черных усах лицу тюремного сторожа, но кулак, вздрогнув, повис и бессильно упал на колени: его держала невысокая миловидная женщина во всем белом. Под белой косынкой, закрывавшей лоб, сверкали большие черные глаза. Он рванулся к ней и, вскрикнув: «Рохл!», без сил упал ей на руки.

«Как она изменилась! — мелькнула у него мысль, когда женщина стала бережно укладывать его в постель. — Его Рохл!.. Одни глаза прежние...»

Но эта была не Рохл. Это была санитарка из небольшой больницы на окраине, куда его принесли с улицы в глубоком обмороке. Позже она провела его узким боковым коридором с узеньким окошком в ванную, вымыла его. А потом он двое суток подряд, приходя на короткое время в себя от лихорадочного жара и озноба, всякий раз видел ее сидящей возле его койки. Кажется, она клала ему на голову что-то холодное, совала в рот ложку с чем-то горьким.

На третий день он почувствовал себя лучше. Она снова водила его в ванную. Потом он крепко уснул.

И тотчас же в далекой дали от синей полосы земли стало подниматься прямо в небеса пламя, оно росло, сверкающее, ослепительное, и там, на той стороне, все, до самого маленького облачка, зажглось пурпуром... И тогда у истоков пламени из узенькой синей полосы земли вдруг родилась какая-то маленькая, едва заметная фигура; она постепенно приближалась, становилась все отчетливее, пока не приняла очертания человека, а еще через несколько мгновений — женщины...

Вот уже хорошо видны ее пронизанные светом распущенные волосы. Пламя в небе поднимается все выше, заливает все вокруг, — и вот в его зареве появляется высокая женщина с ребенком на руках... Она направляется к нему, идет очень быстро, едва касаясь земли... Вот она остановилась. Зарево, пылающее за ее плечами, как будто просвечивает ее насквозь, ее и ребенка, держащего в крошечных пальчиках большое яблоко.

Теперь уже не может быть сомнения — это она. Он вскрикнул и, не помня себя от радости, бросился ей навстречу. Теперь зарево затопило уже и землю, и небо. А она, живая, улыбалась ему большими черными глазами и в знак приветия поднимала крошечную ручку ребенка, их девочки. Потом девочка сама махала отцу, держа в другой ручке яблоко...

— Откуда вы? — воскликнул он.

— С той стороны, — ответила она, и девочка тоже показала в ту сторону, где от синей полосы земли поднялось пламя.

— Туда уже можно? — спросил он, не веря.

— Можно! Мы пришли за тобой.

И она протянула ему свободную руку. Он стоял совсем близко и хотел протянуть ей свою, но с ужасом почув-

ствовал, что рука его точно приросла к телу, что он не может ею шевельнуть... Невыносимо страдая, он смотрел на жену, на девочку, которая тянулась к нему, протягивая надкушенное яблоко... Охваченный страхом, он напряг последние силы, но тело его точно приросло к земле. Он закричал от боли, и над его головой сомкнулась черная бездна...

Он открыл глаза. Было темно. Куда девалось пламя? Почему рядом никого нет? Он несколько раз подряд закрывал и открывал глаза. Крохотный язычок пламени трепетал, казалось, где-то очень далеко, в густой тьме: это горела на столе у окна лампа с придвинутым фитилем. Он хотел вытащить из-под себя правую руку, но она затекла, и малейшее движение причиняло боль.

Как будто кто-то нагнулся над ним — это та женщина в белом. Она испугана.

— Чего это вы так кричали? — спрашивает она. — Что-нибудь болит?

— Ничего.

— Что-нибудь приснилось? — продолжает она допытываться.

«Какое ей дело», — думает он.

— Нет.

— Разве, — спрашивает она, — ей показалось, что он во сне кричал? Рохл — это его жена?

— Да.

— Где она?

Она умерла, когда он еще первый год сидел в тюрьме. И долго он сидел?

— Четыре года.

— За что?

— За попытку перейти границу.

— Дети есть?

Был ребенок. Девочка. Он ее тоже только что видел во сне...

Женщина вдруг спохватилась, что заговорила с больным. Ему еще нужен покой. Она велела ему спать и тихонько, на цыпочках, вышла из палаты.

Но спать в эту ночь он уже не мог: он думал о Рохла.

В первый же год в тюрьме он узнал от заключенных, что в другом отделении умерла его тихая, разумно-сдержанная Рохла. Она была на пять лет моложе его и сидела за то же, что и он. Она не выдержала и года и умерла от паралича сердца.

Их трехлетняя дочь умерла еще раньше — тогда-то они и решили перейти границу Советской России, попасть в страну их давнишних мечтаний.

И вот — непостижимо, неожиданно пришла свобода.

За те несколько часов — с той минуты, как он выбежал из тюрьмы и до того, как попал в больницу — Велва не мог разобраться, что происходит. Но уже тогда ему стало ясно: границы, той самой, из-за которой когда-то погибла Рохла, больше не существует.

А если так, размышлял он, лежа в пустой комнате, значит, и его родное местечко, в тридцати верстах отсюда, которое много лет назад поделили пограничными столбами по опушке березовой рощи, тоже свободно, и он может пойти туда...

Он быстро поднялся и сел на койке. Не оттуда ли пришла к нему Рохла в огненном сиянии? Не туда ли она его звала? Двадцать лет они рвались туда, домой, и не могли вырваться... Теперь его отделяют от дома только тридцать верст, тридцать верст и больше ничего!

Он уже не мог лежать. Одна-единственная мысль не давала ему покоя: уже сегодня он может быть там...

Ощущение слабости сразу исчезло. Он насторожился, долго и чутко прислушивался, затаив дыхание, и медленно, точно в ледяную воду, спустил с койки сначала одну, потом, через минуту, другую ногу. Прижимая рукой отчаянно стучавшее сердце, он так же медленно выпрямился, накинул халат.

Он постоял, взвешивая, стоит ли отодвигать от окна стол с лампой, и вдруг вспомнил: когда его вели в ванну, он проходил узким боковым коридором. Там есть окно. Прислушался. Тихо. Санитарка, верно, где-нибудь прикорнула. Нельзя терять ни секунды.

Белая дверь в коридор полуоткрыта. Он бесшумно проскользнул в коридор.

Еще несколько минут, показавшихся вечностью, и он уже со всех ног — откуда только сила взялась! — бежал по темной улице, не чувствуя боли в колене, которое расшиб до крови, когда перебирался через высокий больничный забор. Он хорошо знал город: в конце этой длинной и кривой темной улицы его ожидал мостик, оттуда можно будет свернуть направо, за разбросанные домишки предместья, к польскому кладбищу, за которым начинается поле...

Вот он перебежал по шаткому мостику через болото, вот уже остались далеко позади старые деревья, которые росли за мостиком.

Кругом была странная, какая-то разреженная тишина, без единого шороха, только кровь стучала в висках и желтые круги вертелись перед глазами.

Солнце стояло уже высоко, когда он наконец очутился в тенистой березовой роще. Он припал к ближайшему дереву, прижал руку к сердцу, тяжело, с присвистом дыша. Осмотрелся, инстинктивно поискал глазами полосатые пограничные столбы с орлами.

Их не было.

Где-то здесь — он силился и не мог припомнить, где именно — в ту темную ночь задержали его и Рохл. Земля в рощице была желтой от осенней травы. Длинные тени от белых стволов лежали черными крестами, а от земли исходил тонкий аромат — смесь почти улетучившихся запахов прошедшего лета и все более ощутимых запахов близкой зимы.

Он опять стоял на этой земле, и все, что с ним произошло за последние дни, теперь казалось ему особенно четким и ясным.

Высокая изогнутая береза, к которой он прислонился, мелко и зябко дрожала.

У него начала кружиться голова. Казалось, что кто-то могучий и властный вдруг стал медленно раскачивать землю у него под ногами.

В вышине, в просветах деревьев небо с разбросанными на нем облачками тоже качалось. И земля и небо, раскачиваясь, издавали какие-то знакомые, позабытые звуки — чуть слышный свист, приглушенное пощелкивание, непрестанное жужжание, стрекот. А по обе стороны от рощи, столько лет разделявшей людей, расположился городок.

И Велвл Горенберг был, точно трепещущая рука, которую одна часть городка после долгой разлуки протягивала другой через эту рощу...

В низине, откуда он пришел, среди полей в желтых заплатах виднелись разбросанные полукругом крыши из темной черепицы.

В одном месте они тесно столпились вокруг пустой, пыльной базарной площади, которая издали напоминала старый выщербленный пятак.

В стороне, особняком, широко расселилась мрачная синагога с узкими, закругленными кверху окнами, а за

нею торчали обуглившиеся столбы чьей-то сгоревшей лавки.

В другом конце, возвышаясь над приплюснутыми крышами, тянулась кверху узкая башня костела. На высоком шпиле бился на ветру, хлопая по старым черным крестам, красный флаг.

А с другой стороны на горе, так невероятно близко, неузнаваемо разросся другой городок. Здесь Велвл когда-то родился. Из этой рощи можно было видеть пожелтевшую, покосившуюся дранковую крышу. Под этой крышей он рос. Теперь там кирпичная стена... Сколько чудес совершилось здесь за эти годы! Над городком вдоль и поперек тянулись провода, бесконечное количество тонких, тончайших проводов. И казалось, что именно эти провода с такой силой тянули вверх городок со всеми его старыми и новыми домами, с высокой дымящей трубой.

Стоять на месте больше было невозможно. Он оторвался от дерева и пустился бежать.

Но вскоре он остановился, с трудом переводя дыхание. Остановился, словно впервые после двадцати лет тяжелых и непрерывных скитаний...

Он огляделся вокруг. Что-то легко вспорхнуло над ним с негромким щебетом.

Он поднял голову — серый воробушек, смешно вскидывая крылышки, полетел от рощи к городку.

Он высоко поднял руку с растопыренными пальцами, словно хотел что-то сказать этой маленькой птичке, но вдруг замер пораженный.

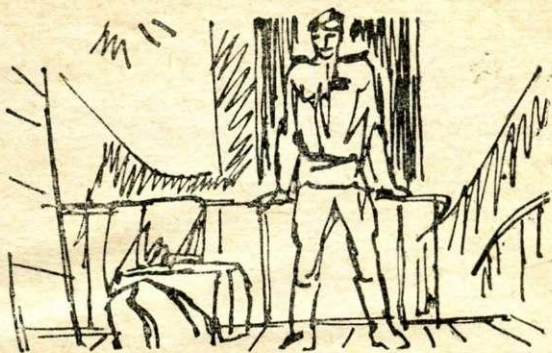
На горе, высоко над городом, где-то там, где широкая труба выбрасывала в небо клубы дыма, возник тонкий и тихий звук — он тут же стал расти, шириться и превратился в мощный, призывный гул, сотрясающий все окрест. Вместе с дымом стремительно рвался ввысь густой, осле-

пительно белый пар — утренний гудок будил людей на работу.

Решительно, чтобы больше уже не останавливаться, рванулся он с места и пустился бежать в гору. Он бежал, и его пьянили запахи осенней родной земли.

1940.





У ДВЕРИ

Наконец он постучал в дверь. Он долго стоял перед нею. Поднял руку и снова отдернул ее. Сердце отчаянно колотилось.

Он вдруг вспомнил, что все еще держит в руке чемодан с привязанным к нему узлом. Поставив чемодан на пол, Гершл Бас привычным движением скинул с плеч рюкзак и глубоко вздохнул, будто здесь, у дверей, у него с плеч упала гора. Вместе с прохладным осенним воздухом, заподнившим узкий коридор на втором этаже (как и четыре года назад, в верхнем окошке оставалось выбитым стекло), Гершл вдохнул едва уловимые и давно забытые домашние запахи. От этого у него закружилась голова. Он вдруг, как это часто бывает в таких случаях, отчетливо увидел перед собой всю прожитую в этом доме жизнь. У него защемило сердце и так задрожали колени, что он вынужден был на минуту прислониться к стене.

В разбитое окошко коридора светила луна, и Гершл стоял на свету — невысокий, плотный, с чуть продолговатым улыбающимся лицом и беспомощно повисшими руками.

Нет, это не луна смотрела на него через окно! То был добродушный и чуть насмешливый взгляд старого друга. Не одну ночь за эти долгие четыре года провели они вместе, и теперь этот друг немало удивлялся странному состоянию, в котором он застал Гершла. А Гершл, прислонившись к коридорной стене, смотрел, чуть прищурившись, на освещенное луною окно, как будто хотел все объяснить.

«Ну и что же? Ты и в самом деле видела меня не раз очень далеко отсюда. Ты видела, как я искал убежища в лесу, ползал под огнем по открытому полю, видела меня и на машинах, и в реке, видела, как я посылал смерть врагу и как сам истекал кровью, дрожа под твоим холодным, мертвым светом... А сейчас ты видишь меня здесь, у родного порога... И сколько раз, попробуй вспомнить, я спрашивал у тебя: «Буду ли я еще когда-нибудь здесь?» А ты всегда равнодушно отвечала: «Кто знает?.. Доберешься — твое счастье...» И вот я здесь. Знаю, ты удивляешься тому, что я стою у двери своего дома и не осмеливаюсь постучать... Но ты должна понять, глупая, что невозможно в одну минуту сделать то, к чему стремился долгие месяцы, годы...

Что в сравнении с этими годами значат еще несколько минут у двери? Они ему были нужны — нужны не только для того, чтобы перевести дух, но, главное, для того, чтобы хоть немного осмотреться в этом узком коридоре у двери и почувствовать, как жили здесь его близкие, понять то, чего он никогда не мог вычитать из редко доходивших до него писем жены...

Гершл окинул коридор быстрым хозяйским взглядом, заметил ржавый гвоздь, неумело вбитый над дверью и за-

гнутой вниз, к притолоке. «Отставать начала», — подумал он и потрогал старое сукно, которым была обита дверь.

На чердак вела знакомая лесенка. Внизу она освещалась луной, верх оставался в тени. Под нижней ступенькой Гершл заметил что-то и, не успев подумать, что бы это могло быть, вспомнил, что здесь всегда лежит половая тряпка. От этого ему сразу стало тепло: значит, жена, оставшись одна, работая, все же не забыла старой своей привычки ежедневно мыть полы... И Гершл сразу явственно ощутил идущий из-под дверей запах свежевывмытых полов... Их мыли, наверное, сегодня. Он вдруг подумал, что жена, наверное, сильно изменилась за эти годы, постарела... Он даже попытался представить себе морщинки, которые легли возле ее продолговатых черных глаз... Но зачем представлять — ведь он ее сейчас увидит.

Но тут же ему захотелось, чтобы момент встречи оттянулся еще немножко. Так волновала мысль, что вот сейчас осуществится его мечта. И чтобы оттянуть это мгновение, он поднялся по лесенке на чердак. Оттуда пахнуло на него издавна знакомым запахом сухого песка, который здесь насыпали, когда строили дом, и еще он ощутил запах наколотых, сложенных для просушки дров. Значит, и сейчас, как и тогда, на чердаке складывают дрова, чтобы не таскать тяжелые охапки из сарая на второй этаж. А кто теперь колет дрова? Неужели сама Лия? А может быть сын. Ведь он уже большой, ему исполнилось десять лет.

Гершл посветил карманным фонариком и увидел в углу кучу наколотых дров... Он взял полено, подошел с ним к окну. Полено было кривое и пахло клеем. На нем были следы тупого топора, и по ним можно было определить, что дрова рубила неопытная рука.

Гершл подержал полено в руке, как бы взвешивая его, и сбежал с ним по лестнице. На последней ступеньке он

остановился, вернулся, положил полено на место и в следующую минуту снова стоял у двери.

Все так же отчаянно стучало сердце. Хорошо все-таки, что он еще по эту сторону порога. Сейчас он увидит всех сразу — Лию, сына, дочь. Когда он уезжал, ей было всего два года. Теперь ей шесть лет, и она, наверное, его не узнает. Да, хорошо, что он еще не вошел. Его ждет такое счастье, — как же можно сразу? Надо подождать, хоть немного отдышаться, подготовиться...

Гершл прислушался. За дверью царил тишина. Там все спали и ни о чем не догадывались...

Гершл рассеянно смотрел на дверь. Пятнадцать лет! Пятнадцать лет прошло с тех пор, как он приехал сюда. Тогда это место только начинало отвыкать от старого своего имени и привыкать к новому — «Биробиджан»...

Это слово долетело до далеких западных границ и, словно магнит, стало притягивать к себе людей — крепких, здоровых, любящих труд и не боящихся трудностей. Тогда-то и приехал сюда Гершл из местечка под Минском. Он привез сюда крепкие руки, ремесло плотника и нерастраченную силу своих двадцати шести лет. Вместе с ним приехала его молодая жена.

Гершл имел обыкновение все, что делает, делать как следует, не любил он обманывать ни себя, ни других.

— Если работать, так работать хорошо, — говорил он, еще будучи в местечке.

Жил он там неплохо, но когда пришла весть о Биробиджане — огромном и богатом крае, Гершл решил: «Ехать так ехать!» И увез с собой жену и родителей. Удобств здесь было мало, но зато перспектив много. Гершл понял, что нужно засучить рукава и поработать.

— Строить так строить! — сказал он.

И нет в городе дома, к которому Гершл не приложил

бы своих рук. И этот, свой дом он тоже сам строил. И вот эту дверь, у которой он сейчас стоит, Гершл прилаживал своими руками. Из этой двери он вышел четыре года назад... Здесь, на пороге Лия бросилась к нему на грудь и, не выдержав, разрыдалась. Дети стояли возле нее и с испугом смотрели, как он уходит от них. Тяжело было на сердце.

— Но уж воевать так воевать! — решил тогда Гершл. В армии он стал сапером. Приходилось строить мосты, переправы. Случалось, надо было очистить поле от мин, идти в разведку. Он скоро привык к трудностям военной жизни, привык к мысли о смерти, сторожившей на каждом шагу. И работу свою он всегда выполнял спокойно, с уверенностью, что делает то, что должен делать.

Он был под Волгоградом — среди тех, кто вошел в освобожденный город. Он переправлялся через Днепр и Буг, Вислу, Дунай, дрался у Кенигсберга. О каждом из этих мест остались у него на память ордена и медали. Тело было исполосовано рубцами ран.

Теперь по ту сторону двери, у которой он стоял, ждало его счастье...

Эшелон, с которым ехал Гершл, прибыл не днем, как он рассчитывал, а ночью. Жена и дети, наверное, его встречали. Ведь он послал им телеграмму с дороги. Ждали, наверное, весь вечер да так и не дождались. Ночью на вокзале никого не было, кроме носильщиков и дежурного по станции. Эшелон постоял несколько минут и, коротко свистнув, двинулся дальше, оставив на перроне несколько демобилизованных с узелками. Они вместе дошли до Советской площади и здесь расстались.

Впервые после четырехлетней разлуки Гершл шел по спящему городу, который сам строил. Луна сеяла голубоватый свет, заливавший улицы, дома и оголенные осенью деревья. Вдалеке темнели холмы и сопки.

Гершл чуть не бегом побежал по зыбким деревянным тротуарам к своему дому. Не чувствуя тяжести узлов, он взбежал на второй этаж и остановился у двери своей квартиры...

Он стоял у двери, столько раз снившейся ему в эти годы, столько раз являвшейся ему в мечтах...

Прошло еще несколько секунд. Сердце все так же громко стучало — казалось, что этот стук может разбудить спящих за дверью... Наконец Гершл поднял дрожащую руку и несколько раз постучал по косяку. Напрягая слух, уловил торопливую суетню и услышал голос из дальней комнаты:

— Кто там?

— Это я! — крикнул Гершл изо всех сил. Он продолжал сотрясать дверь ударами, как бы желая заглушить ими стук собственного сердца...

1945.





В ПУТИ

На небольшой дальневосточной станции нас было только двое пассажиров, ожидающих московский поезд, проходивший здесь поздно ночью, — я и молодая женщина, медицинский работник, ехавшая в отпуск к родным в Новосибирск. Билеты у нас были в один вагон, а когда мы сели в поезд, оказалось, что свободно одно лишь последнее купе у самого входа.

На рассвете я проснулся от ощущения, что поезд остановился. Открыв глаза, я увидел следующее: одной ногой на моей, другой — на полке моей соседки стоит пожилой мужчина необычайного роста и толщины, а несколько человек, выстроившись цепочкой от двери, подают ему один за другим бесчисленные чемоданы и узлы, и он с поразительной легкостью отправляет их на верхние полки.

— Ай! — сверху вдруг сорвался чемодан и упал на полку моей соседки. На счастье ее ноги не пострадали. Она даже не проснулась.

Потом все вышли из вагона, и в купе, кроме богатырского дяди, осталась маленькая закутанная старушка.

Когда я проснулся снова, было уже совсем светло. За вздрагивающими стеклами окон сверкала на солнце покрытая снегом земля.

Моя соседка, маленькая худенькая женщина, похожая на девочку, в ярком цветастом халате, сидела в уголке на своей полке, поджав под себя ноги. Рядом с ней разместился наш великан. Они уже успели познакомиться — в дороге это делается просто — и теперь подшучивали над ночным происшествием с чемоданом.

— Еще хорошо, — говорила Валя (так она просила ее называть), — что я маленькая и привыкла спать, свернувшись калачиком. А не то...

— А не то, — перебил ее густой бас нашего нового соседа, — я бы в жизни не искупил своей вины перед такой славной девушкой. Поверьте, больше всего я испугался за вас. А уж моя старушка — лучше не спрашивайте...

Его старушка лежала теперь наверху, над Валею, и казалась совсем крошечной под чистой простыней. Видна была только голова с коротко остриженными желтовато-седыми волосами и худощавое лицо, на котором выцветшие серые глаза светились затаенной грустью и добротой.

К полудню мы совершенно освоились друг с другом и были очень довольны, что едем вместе. Обедали в купе одной компанией — особенно вкусной была жареная медвежatina, которую везли с собой наши соседи.

Григорий Константинович — так его звали — прожил долгую и интересную, наполненную событиями жизнь, и рассказывал он с такой живостью, с таким юмором, что мы и не заметили, как миновал первый день пути.

Григорий Константинович был широкоплечий здоровяк, грудь колесом, без единого седого волоска в черной, как смоль, шевелюре и широких бровях. Его румяное лицо

привлекало не столько своими чертами, крупными и массивными, сколько выражением чисто русской богатырской силы и умного добродушия. На вид ему можно было дать около пятидесяти. Каково же было наше с Валею удивление, когда мы узнали, что ему двух лет не хватает до семидесяти!

— Пусть это вас не удивляет, — сказал он. — В Тамбове у меня еще мать жива, ей девяносто три года, она сама ходит по магазинам.

В царское время и в первые годы революции — матрос (память об этом — татуированный якорь на руке), старый большевик, он уже больше трех десятилетий руководил работой на золотых рудниках Сибири, Дальнего Востока и Дальнего Севера. И всюду его маленькая, слабенькая Анна Яковлевна — он ее называл «моя старушка» — следовала за ним. Теперь они ехали с дальневосточных золотых приисков — он управлял ими последние десять лет — на золотые прииски в Среднюю Азию, куда его перевело министерство. Так что ехали они со всеми пожитками.

После двух суток пути позади осталась Чита. Поезд мчался по Забайкальской железной дороге.

Перед Петровским Заводом супруги вдруг начали беспокойно рыться в чемоданах, что-то вынимали, перекладывали.

— Разве вы тут выходите? — удивилась Валя.

— Нет, мы едем с вами еще трое суток, до Новосибирска, — ответил Григорий Константинович, снимая с верхней полки узел и передавая его Анне Яковлевне. — В Новосибирске переседем на другой поезд.

— Почему же вы собираете вещи?

— На первой станции за Петровским Заводом у нас живет дочь, — объяснила Анна Яковлевна и переложила из одного чемодана в другой два свертка материи, коричневую шубку и детские валенки.

— Когда выезжали, мы ей дали телеграмму, — сказал Григорий Константинович, — она нас встретит.

— Мы ее уже восемь лет не видели, — добавила Анна Яковлевна, а Григорий Константинович продолжал:

— Она у нас геолог. За это время вышла тут замуж, муж — инженер, у них уже дочурка семи лет. Ни мужа, ни внучки мы не видели.

— Только теперь познакомимся, — добавила Анна Яковлевна, снова забираясь на свою полку.

Когда поезд остановился на станции Петровский Завод, в купе вошел молодой человек в темной шинели и спросил, здесь ли едет Григорий Константинович Чулымов. Увидев нашего соседа, он спросил:

— Это вы? — и протянул ему руку. — Я муж Нади.

— Надюшин муж?

Анна Яковлевна беспокойно заворочалась на своей полке и стала слезать, торопливо и неловко.

— Надюшин муж! — И взяв его за руку, она устремилась на него долгий взгляд, в котором было столько доброты и грусти. — Надюшин муж...

Он нарочно приехал на Петровский Завод, рассказывал молодой человек, чтобы встретить тестя и тещу до станции, где их ожидают Надя с дочуркой.

Вот и станция. В купе вбегает Надя — высокая русоволосая женщина, — обнимает сперва Анну Яковлеву, потом бросается на шею Григорию Константиновичу.

— Мамуля... папа! — и она заливается слезами.

— Что ты плачешь, глупенькая? — утешает ее Григорий Константинович. — Вот мы и свиделись, здоровы. Жаль, только, что не можем у тебя остановиться — спешим... Муж у тебя хороший, а внучка...

Внучка, большеглазая Наташа, в светлой дошке, с любопытством разглядывает из-под меховой шапочки дедушку с бабушкой и недоумевает: чего это мама плачет? Но

она не успевает разобраться — взлетает в воздух в сильных руках незнакомого дедушки.

Тем временем Анна Яковлевна успела передать Наде два чемодана. Надя отказывается — у них все есть, живет ей хорошо, она так рада, что удалось повидаться, — но Анна Яковлевна сказала неожиданно повелительно:

— Бери, бери! Тут кое-что для тебя и для Наташки...

Как одно мгновение, пролетели десять минут. Молодые супруги с ребенком вышли. Поезд тронулся. Анна Яковлевна и ее муж сидели у окна, друг против друга, и молчали. По худым щекам Анны Яковлевны текли слезы, у Григория Константиновича глаза тоже были влажные...

Еще два дня миновали. Позади остались Байкал, Ангара с ее гигантскими гидросооружениями, Иркутск.

Перед Красноярском Григорий Константинович и Анна Яковлевна снова принялись за свои чемоданы.

— А теперь что? — спросила Валя.

— В Красноярске сын у нас, — ответил Григорий Константинович. — Он нас будет встречать всем семейством. Мы ему телеграфировали.

В Красноярске купе сразу заполнилось. С большим тортом и всякой всячиной вошли рослый подполковник с коротко подстриженными усами, его жена, от которой пахло морозом и духами, и двое детей — мальчик лет тринадцати и смуглая девочка лет десяти. Получасовой стоянки хватило на то, чтобы выпить за встречу, закусить остатками жареного гуся, который принесла Надя, рассказать о Наде, ее муже и их дочери, расспросить о родне, насмотреться друг на друга за все пять лет, что не виделись, и оделить детишек подарками.

Но вот и Красноярск позади.

Вечером мы с Григорием Константиновичем сидели в вагоне-ресторане и пили пиво.

— Как, по-вашему, — обратился он ко мне, открывая новую бутылку и наполняя стаканы, — дорогое это слово — «отец»? А?

Он отпил из стакана, сдувая пену.

— Но еще дороже — «дедушка!» Хороши у меня внуки?

— Очень славные!

— Как вам нравятся сын, дочка?

— Очень нравятся...

Григорий Константинович долил стакан.

— А похожи они на меня? — спросил он.

— Этого я бы не сказал...

Действительно, мне бросилось в глаза, что ни сын, подполковник, ни дочь ничем не напоминали ни Григория Константиновича, ни Анну Яковлевну и друг на друга не были похожи.

Я сказал об этом Григорию Константиновичу и добавил:

— Это случается.

— Случается? — переспросил Григорий Константинович, следя, как оседает пена в стакане. — Да, случается, — повторил он, поднимая стакан и так держа его в воздухе. — Случается, что в тяжелое время войны отец погибает где-то у Перекопа, мать умирает в деревне от голода... И остается двухлетний мальчик один-одинешенек... Что тут поделаешь? А в своей собственной семье нет детей. Жена была сиротой, с семи лет жила у дяди кулака, надорвалась на тяжелой работе и не могла иметь детей, — вот и принимают такого крошку... сына. Но ведь скучно ему расти одному — принимают девочку, сестричку ему... А чтобы никто никогда не мог им сказать, что они сироты, переезжают на новое место, где их никто не знает. И дети вырастают, выходят в люди, и сами не знают...

— До сих пор? — с удивлением спросил я.

— До сих пор...

Когда мы возвращались в купе, Григорий Константинович обернулся ко мне:

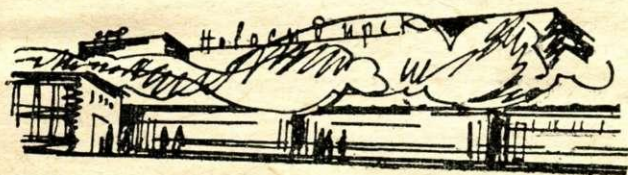
— Просто пришлось к слову, и рассказал, ведь мы с вами, верно, никогда больше не встретимся.

А потом, когда я собирался открыть дверь нашего купе, он на мгновение придержал мою руку.

— Смотрите, не проговоритесь, при моей старушке... Ладно? — подмигнул он мне с видом заговорщика.

Ночью поезд прибыл в Новосибирск.

1956





СЕСТРИЧКИ

Лина и Лена — так зовут сестричек. Так же, как их имена, они мало отличаются одна от другой: обе подвижные, с темно-русыми косичками, у обеих серо-голубые глаза, полные розовые щечки и чуть курносые носики... Только Лена на два года старше Лины. И поэтому Лина, с тех пор, как помнит себя, не перестает завидовать Лене.

Лене уже купили школьную форму, портфель, и она пошла в школу, а Лина еще два года изо дня в день должна была ходить в детский сад. Когда Лина пошла в школу, Лена уже была пионеркой и носила красный галстук.

Сейчас Лина в пятом классе. Но мама до сих пор говорит ей:

— Ты еще ребенок.

Лина очень любит свою маму, она уверена, что другой такой мамы нет на всем белом свете — и не только потому, что она лучший бригадир на швейной фабрике и ее порт-

рет помещен на городской Доске почета. Но вот этих слов, что она ребенок, Лина никак не может простить своей маме.

Лена уже в седьмом классе. Она сама должна решать свою судьбу: либо остаться учиться в этой школе, либо уйти в педагогический техникум или в медицинскую школу.

— Лена уже человек самостоятельный! Ты на нее не равняйся, — говорит мама.

И этого Лина ей тоже не может простить.

Но никогда еще Лина так не завидовала сестре, как в прошлое лето, когда та ездила в Артек.

Шутка ли, Артек!..

В один из выходных дней, когда Лина с отцом были дома, а мама ушла на рынок, почтальон принес письмо от Лены. Это было первое и, конечно, восторженное, письмо из Артека.

Своим отцом Лина гордится не меньше, чем матерью. Он — мастер на крупном заводе, уважаемый человек, новатор, о нем пишут в газетах.

Прочитав письмо, Лина долго сидела задумавшись.

— Папа... — наконец проговорила она нерешительно и умолкла.

Ее серо-голубые глаза глядели мечтательно и вопросительно.

— Что, дочка?

Лина положила свою ручку на большую смуглую руку отца.

— Вот хорошо будет, когда всюду-всюду будет такая жизнь, как в Артеке...

Отец посмотрел на нее с удивлением.

— Когда?

— Ну, когда... При коммунизме...

Отец громко рассмеялся и легонько потрепал волосы дочери.

— Весь мир — сплошной Артек? А? — смеялся он. — Вот как?..

Когда Лена, вся бронзовая и, казалось, пропитанная морским воздухом, заметно подросшая (как обычно подрастают дети даже за короткое время, если их не видишь), вернулась из Артека домой, переполненная удивительными рассказами обо всем, что видела, Лина не отставала от нее ни на шаг, с жадностью впитывала каждое слово и все время просила рассказывать еще и еще.

И больше всего завидовала Лина новому пионерскому галстуку, который привезла с юга Лена. Это был не простой галстук, какой носят подруги Лены. И Лина как будто видит то, что рассказывает ей Лена.

...Раннее утро. Солнце только взошло. Ярко-красный солнечный шар, как бы свежеемытый, выкатывается из морской глубины. С тихим шорохом ласкается к берегу вода... Волны синие-синие, а гребешки на них белые. По берегу идут две девочки. Одна из них Лена, другая — Величка. Величка Бакалова. Величка одних лет с Леной. Учится тоже в седьмом классе, только она смуглая, с продолговатыми черными глазами. Когда она говорит по-русски, то ее не сразу поймешь. Величка из Софии. Она была на фестивале и приехала сюда, в Артек на две недели. Живет она с Леной в одной комнате, они подружились. Сегодня Величка уезжает. Вот они и пришли вместе на берег Черного моря.

— Давай попрощаемся! — сказала Величка и сняла свой галстук, прижала его к губам и протянула Лене.

А Лена сняла свой и протянула его Величке.

Вот откуда новый галстук у Лены!

Потом она стала получать письма с красивыми неизвестными марками. Это были письма из Софии, города, где живет Величка.

Однажды в конце весны, когда деревья, запоздав,

вдруг вспыхнули зеленым пламенем, Лина пришла из школы, и мама ей сказала:

— Сегодня для тебя что-то есть.

Мама подошла к буфету, открыла стеклянную дверцу. Обычно она достает оттуда какое-нибудь лакомство.

Мама обернулась. В руках у нее было письмо.

— Это Лене?

— Нет, тебе.

— Мне?

Может быть, это Лине снится? Она разворачивает письмо — обыкновенный листок из тетради, на нем — круглые буквы, по-русски и в то же время не по-русски...

«Дрога... Дрога Лина... «Ну да — «Дорогая Лина».

— Кто же это пишет?

Лина прочитала и крикнула радостно:

— Ведь это Величкина сестра!

— Ну конечно, — ответила мама.

Тут нет ничего удивительного. Лена написала Величке, что Лина тоже хочет получать письма от кого-нибудь из Софии. У Велички есть двоюродная сестра одного возраста с Линой. Она тоже учится в пятом классе. Зовут ее Радинка, Радинка Терзиева.

— Ой! — воскликнула Лина, прижимая письмо к груди.

Некоторые слова были непонятны, но все-таки Лина поняла.

Она будет рада, пишет незнакомая девочка Радинка, переписываться с Линой. Пусть Лина напишет, как она учится, как проводит время. Она, Радинка, учится хорошо. Русский язык она тоже изучает. После уроков часто гуляет с подружками в Софийском парке, который называется «Парк Свободы». Там стоит большой памятник русским солдатам, которые в 1878 году разбили турок и освободили Болгарию... И еще она хочет рассказать ей, что на

днях видела русский спутник. Он пролетал над их Софией...

Когда отец вернулся домой после вечерней смены, мать повела его в комнату детей и на минутку включила свет. Раскинувшись, Лина спала, положив руку под пылавшую во сне щеку, и ровно дышала. Рядом, на подушке, лежало письмо.

Отец и мать долго сидели в столовой, забыв посмотреть на часы. Письмо лежало на столе.

Отец сказал:

— Помнишь, ведь и мы когда-то были пионерами... Как будто не так уж давно... А как изменился мир с тех пор! Сколько друзей прибавилось у нас и у наших детей во всем свете.

Он взял в руки письмо.

— Как она пишет, эта девочка из Болгарии? Она там видела наш спутник.

Помолчав, добавил:

— Новый... Новый мир...

Мать пошла в детскую и положила письмо обратно на подушку Лины. Часы звонко пробили два.

Когда она вышла из детской, муж обнял ее за плечи.

— А подумала ли ты, как будет выглядеть мир, когда будут жить дети Лины и вот этой Радинки?.. А?

1958.





МУЗЫКАЛЬНАЯ НОВЕЛЛА

Молодой музыкант, недавно окончивший консерваторию, приехал в гости к родителям на несколько дней. Родители — оба уже пенсионеры: отец — бывший мастер швейной фабрики, мать — библиотечный работник. Они гордились сыном. Им очень хотелось, чтобы Фелик (для них он все еще был Феликом) что-нибудь сыграл для друзей и знакомых.

Своего инструмента в доме не было. Но это не имело значения. В местной радиостудии сказали: «Пожалуйста, собирайтесь у нас. А мы запишем концерт. Это будет очень даже интересно».

Когда родители не без робости сказали об этом Феликсу, он, как в детстве, подтянул вверх нижнюю пухлую губу и усмехнулся:

— Напоказ? Вот, дескать, мы какие?

— Почему напоказ? Люди хотят послушать, как ты играешь, чего тут плохого?

— Любопытно, какие это люди?

— Обыкновенные. Мои, мамины друзья. Да и твои товарищи...

Утром следующего дня, едва проснувшись, Феликс побежал к матери, обнял ее и, заглядывая в глаза, сказал:

— Обиделась, да? Ладно, буду играть, буду...

В назначенный час собрались в студии. Здороваясь с приятелями родителей, Феликс испытывал странное волнение. Многие из этих людей знали его совсем еще маленьким. И, возможно, — подумал он, — ему сейчас предстоит держать экзамен куда более серьезный, чем несколько месяцев назад в консерватории.

Феликс вдруг почувствовал себя в чем-то виноватым перед окружавшими его пожилыми мужчинами и женщинами. Среди них были и его первая школьная учительница, и первая учительница музыки. В далеком старинном городе, где он учился в консерватории, ему лишь изредка вспоминался молодой город на Дальнем Востоке. А они, его земляки, между тем тут не дремали: город разросся, покрылся асфальтом, оделся в зелень бульваров и скверов. Любопытно, вот это двухэтажное здание, было оно уже или его еще не было, когда он уезжал отсюда? Нет, кажется, не было. И виднеющиеся в окно четырехэтажные дома, над которыми летают сейчас голуби, их тоже ведь не было... И по ту сторону моста зеленая сопка тогда не целилась еще в небо острием телевизионной вышки...

Вот с этим чувством какой-то вины перед людьми, собравшимися в студии, в которой сразу стало тесно, молодой музыкант присел к роялю. Сперва сдержанно, потом все свободнее, просторнее полились звуки Рахманинского «Прелюда». Все, чему научился он за эти годы, старался Феликс вложить в свою игру. Все, что умел.

Феликс сознавал, что эти люди пришли сюда не просто послушать концерт. Они пришли, потому что желают удо-

стовериться: делом ли занимался и он, их земляк, и не потерянным ли оказалось для него то время, когда они здесь с головой ушли в сооружение поселков, заводов, колхозов...

Со всей тонкостью, на которую был способен, старался Феликс донести до слушателей все, что играл, словно была перед ним аудитория, сплошь состоящая из профессиональных музыкантов.

В действительности же истинных знатоков в зале было всего два: первая его учительница музыки и пожилой театральный критик, известный в городе как человек едкий и насмешливый. Сидел он у самого входа с таким видом, словно заглянул сюда лишь случайно и готов сразу же уйти, как только происходящее здесь перестанет его занимать. Из-под высокого лба, как из-под укрытия, остро поблескивали глубоко посаженные маленькие черные глаза.

Феликс некоторое время чувствовал на себе этот взгляд, мешавший ему играть. Напряжением воли он отстранил его, как нечто живое, затем, целиком отдавшись игре, и вовсе о нем забыл.

Дверь в коридор была широко раскрыта. Все же от светло-выкрашенного потолка с огромной люстрой, набитой слепящими электрическими лампочками, от тяжелого темно-красного ковра на полу нестерпимо несло духотой. Но для слушателей, казалось, все окружающее исчезло. Захваченные мощным, торжественным потоком звуков, они сидели сосредоточенные, не сводя глаз с мелькающих пальцев пианиста.

В углу, в тени, какая-то очень маленькая, почти незаметная, сидела первая школьная учительница Феликса. Локтем оперлась о колено, подбородок — на кулачке. Сейчас, под бурные звуки «Прелюда», ей с поразительной отчетливостью представилось:

...В первом классе на второй парте у окна — крепкий

чернявый мальчонка. Щечки у него и так словно пампушки, а от старания он их еще больше надувает, даже кончик языка высовывает, аккуратно выводя в разлинованной тетради черточку за черточкой... Тот маленький, беспомощный мальчик и этот пианист, из-под пальцев которого вылетают такие мощные звуки — один и тот же человек! Неужто? И ее охватывает сложное чувство — и радость, и гордость, и страх — сколько же лет с тех пор прошло?..

Приоткрыв рот, не сводит с Феликса глаз высокая, худая женщина с темной бородавкой на бледном лице. Она смутно разбирается в том, что он играет, но ей просто нравится, что столько людей, затаив дыхание, слушают ее маленького соседа. ...На губах женщины мелькает улыбка. Сколько раз родители Феликса оставляли его на ее попечение, и когда он слишком уж расхотелся, она, бывало, всыплет ему куда следует, чтобы вел себя потише. И вот...

У Самой внимательной слушательницей была здесь, конечно, учительница музыки. Она даже несколько мешала другим: то медленно, то быстрее, то вдруг совсем быстро качала стриженной головой, губы ее что-то бормотали. Подобно чуткой клавиатуре, она вся трепетала в такт музыки.

Феликс энергично тряхнул волосами — они на миг упали ему на глаза — и бессильно опустил руки. Публика аплодировала.

Во время перерыва все двинулись в коридор, жадно вдыхая вечернюю прохладу, хлынувшую с улицы в раскрытую дверь.

К Феликсу подошла мать. Безмолвным, затуманенным от неожиданной слезы взглядом спросила: не слишком ли устал, доволен ли...

Его обступили. Отец тоже хотел подойти, но пробиваться не стал. Ничего, успеется. Что-то совсем по-бабьи у него вдруг заслезилась глаза...

Чуть приподнявшись на носках, театральный критик похлопал Феликса по плечу:

— Хорошо, молодой человек, хорошо...

Однако глубоко посаженные черные глаза при этом говорили другое. Или Феликсу показалось? Сегодня перед этими людьми хотелось ему играть так, как никогда еще не играл. Удалось ли? Этот критик в душе, пожалуй, издевается над ним, молодым музыкантом. Издевка слышится в его невнятном, приглушенном голосе:

— О вашем инструменте, о рояле, когда-то хорошо сказал Рубинштейн, вы, конечно, знаете...

— Я имею в виду, — добавил он, — великого Антона Рубинштейна...

Критик уставился на Феликса взглядом, в котором одновременно можно было прочесть: «Конечно, знаешь, это ведь элементарно», и «Оказывается, ты об этом понятия не имеешь... Ох, уж эти нынешние, нахватаются вершков»...

Феликс стоял, чуть растерянный, с видом человека, занятого решением сложной задачи высшей математики, которого вдруг спросили бы: «А сколько будет дважды два?»

Он пожал плечами:

— Рубинштейн много писал о музыке...

— Верно, — согласился критик. — А что касается рояля, он, как вы знаете, сказал так: «Вы думаете, это один инструмент? Нет, это сто инструментов!»

— Ха! — Феликс рассмеялся. — Наш профессор часто любил повторять это изречение.

Критику смех не понравился, и он не без иронии заметил:

— Не забудьте, однако, сто инструментов содержал в себе его рояль, Рубинштейна... Как и Листа, Рахманинова...

Потом, чуть пожевав бледными губами, позолотил пиялю:

— Но и в вашем рояле инструментов десять найдется...

Он отошел в другой угол, где в облаке папиросного дыма оживленно о чем-то разговаривала группа работников музыкальной школы и радиостудии. Оттуда до Феликса доносилось: «легато», «октава», «туше»... Речь, по-видимому, шла о его музыкальной технике. Критик тут же вмешался в разговор.

— Слово «техника», — сказал он, — происходит от греческого «тэхнэ», что означает «искусство»...

Феликс все еще не мог понять, в похвалу ли ему все это говорится, или уважаемый критик просто хочет лишний раз похвастать своей эрудицией.

Перерыв кончился.

Все снова сидят в зале.

На какое-то мгновение руки Феликса застыли в воздухе, затем всеми пальцами легко опустились на клавиатуру. В звучных недрах рояля зародился рокот, подобный приближению грома... И вот уже громяхают, бушуют звуки — ураган, буря, горный обвал, и кажется: вот-вот сверкающая молния расколется небесный свод на всю его немыслимую глубину.

Постепенно бурные аккорды становятся сдержаннее. Тише, тише. После бури выглянуло солнце, отразилось в успокоенной глубине вод...

Вдруг пианист склонился у края клавиатуры, вслушиваясь в переливчатые трели, и снова — голова чуть откинута назад, а тонкие пальцы мелькают так, что, когда смотришь на них, глазам больно.

Быстро, быстро, в такт покачивает головой старая учительница музыки. Критик сидит, полузакрыв глаза. Он больше не подсчитывает, сколько в рояле инструментов...

Да, это Лист. Это он — напористый, страстный, со всей своей неумейной жаждой жизни...

Гремят водопады. Разливаются океаны — людские судьбы, мечты, стремления, борьба — борьба за простое человеческое счастье...

Критик сейчас завидует молодому пианисту, завидует власти его над миром звуков. Он вспомнил свою уже далекую юность вскоре после революции — голодная, но радостная то была юность, полная впервые открывшихся ошеломляющих возможностей. Все дороги, все двери — настежь! Вот тогда бы да теперешнее умение выбирать! Тогда жадно хотелось схватить все сразу — театр, живопись, музыку... Но ни на одном пороге не задержался, и вот сейчас он ценитель многих искусств, всего лишь ценитель.

О чем-то своем, заветном задумалась пожилая женщина с бородавкой на бескровном лице. Странно, почему именно сейчас она вспомнила своего мужа. Он был каменщиком, возводил дома, клал печи. Уже давно, лет тридцать назад он погиб. В дождливый день сорвался со скользких лесов недостроенного этажа... Строили первое большое школьное здание в этом, тогда еще совсем молодом селении. Позже надстроили еще один этаж. Школа до сих пор стоит и еще долго будет стоять. В ней дочь закончила десять классов, теперь там учатся внуки. Феликс тоже бегал с портфельком в эту школу.

Странно, почему именно сейчас она вспомнила обо всем этом...

Отец Феликса, сперва ревниво переводивший взгляд с одного слушателя на другого: «Что они думают об игре сына?» — теперь ни на кого не смотрит. Низко опустив тяжелую голову с полузакрытыми набрякшими веками, он где-то далеко отсюда. Он видит себя в возрасте Феликса по ту сторону океана...

Занесло его туда из бедного польского местечка... Аргентина. Пути, перепутья. Сколько их было — не счесть! Поиски работы, хлеба, доли... Иногда казалось: наконец-то нашел! Потом опять то же самое. Однажды его вместе с другими участниками рабочего собрания арестовали. Это случилось во время одного из многочисленных государственных переворотов в той стране. Собрания были запрещены. Эмигрантам было предложено убраться из Аргентины.

И вот страна его мечты. Четыре буквы, как четыре солнца: СССР.

Первая коммуна... Первые палатки... Первые дома... Трудностей множество, но еще больше силы, чтобы их превозмочь. А главное — юные сердца, крепкие руки!

И вот его сын, рожденный на этой земле, сын его — у рояля! Очарованные слушатели... Лист... О, старику Листу есть что сказать и о нем, бывшем безработном из Аргентины, о том, как здесь, на этой щедрой дальневосточной земле рванулся он с жадностью к работе, как вот этими сильными руками корчевал тайгу, вместе с товарищами ставил первые дома.

Расходились поздно. Небо над городом стояло высокое, просторное. Мимо ослепительной луны мчались тучки, и казалось, что луна куда-то торопится.

Медленно, раздумчиво шагая, критик оглянулся и заметил, что все, с кем он только что был на концерте, ушли вперед. Он ускорил шаг, догнал Феликса и, пересиливая одышку, спросил:

— Торопитесь, молодой человек?

— Извините, — вежливо ответил тот. И поинтересовался: — Вы мне что-то хотите сказать?

— Да... Сколько, я сказал, в вашем рояле инструментов?

— Что-то около десяти, если не ошибаюсь.

— Добавьте еще двадцать! За Листа.

— Благодарю.

Некоторое время шли молча. К видневшейся вдали сопке и куда-то дальше, огибая ее, тянулась гирлянда электрических огней. Воздух был настолько прозрачным, что даже отсюда, на расстоянии нескольких километров не трудно было различить на вершине сопки маленький домик, уютно примостившийся у подножия телевизионной вышки. А напротив, возле строящегося многоэтажного дома дремал с высоко поднятой стрелой башенный кран.

Критик тихо произнес:

— Не люблю сантиментов. Но сегодня вы меня растрогали...

Испугавшись последнего слова, он сразу же спохватился:

— Не только вашей игрой, нет...

— Чем же?

— Во-первых, тем, что играли *вы* (слово «вы» он подчеркнул), и, во-вторых, тем, что вы играли (подчеркнул он слово «что»).

— Не понимаю.

— Вам это, пожалуй, трудно понять. Видите ли, в этих местах я поселился, когда вас еще не было на свете. Примерно года два до этого... гм-гм... события. Закончил в Москве институт и приехал сюда работать. Вот здесь, где мы сейчас шагаем, асфальта не было. Были ямы и рытвины. В жаркий день — не продохнуть от пыли, в дождливый — ног из грязи не вытянуть... И вот сегодня, когда вы играли, особенно когда вы играли Листа, я подумал: значит, за прошедшие годы мы здесь, вдали от тех мест, где часто даются камерные концерты, кое-что сделали! Значит, годы прожиты не зря!.. Извините, — резко оборвал он свою речь, — здесь мне нужно свернуть. Живу вот в том новом доме...

Он торопливо пожал Феликсу руку и скрылся.
Феликс посмотрел ему вслед. «Этот человек, — подумал он, — вовсе не такой, каким кажется».

Подумал он и о других людях, шагавших впереди. Возможно, и у них он, Феликс, своей игрой вызвал такие чувства, о которых сам даже не догадывается.

Издали, остановившись, озабоченным голосом его окликнула мать.

— Иду, мама!

Накинув пиджак на плечо, он зашагал быстрее.

1962.



СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТЬ

Братья. Перевод с еврейского М. Шамбадала	5
---	---

РАССКАЗЫ

Красногвардейцы и Ленчик. Перевод с еврейского М. Шамбадала	66
Ночная смена. Перевод с еврейского М. Шамбадала	75
В освещенном кругу. Перевод с еврейского М. Шамбадала	87
Комсомольцы. Перевод с еврейского М. Шамбадала	95
Золото. Перевод с еврейского М. Шамбадала	108
Под радугой. Перевод с еврейского М. Шамбадала	128
Сызнова. Перевод с еврейского М. Шамбадала	134
Общее знамя. Перевод с еврейского М. Шамбадала	148
Земля родная. Перевод с еврейского М. Шамбадала	153
У двери. Перевод с еврейского М. Шамбадала	163
В пути. Перевод с еврейского М. Шамбадала	169
Сестрички. Перевод с еврейского М. Шамбадала	176
Музыкальная новелла. Перевод с еврейского М. Фридмана	181

Борис Израйлевич Миллер

ЗЕМЛЯ РОДНАЯ

Хабаровское книжное издательство,
г. Хабаровск, ул. Ким Ю-чена, 9.

✱

Редактор Л. С. Овечкина.
Художник Е. И. Вольгушев.
Художественный редактор А. В. Колесов.
Технический редактор М. Д. Кайдалова.
Корректор О. Е. Третьякова.

✱

Сдано в набор 15/XII 1964 г.
Подписано к печати 3/II 1965 г. ВЛ 01094.
Бумага $70 \times 108/32 = 3$ б. л., 8,22 п. л.,
8,29 уч.-изд. л.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 5629. Цена 35 коп.

✱

Типография № 1 Краевого управления по печати,
г. Хабаровск, ул. Л. Толстого, 3.